

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

О. БОЛЬШАКОВА

**НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ:
Современная зарубежная историография**

Аналитический обзор

Москва – 2006

ББК 63.3(2)
Б 79

Серия: *История России*

Центр социальных и научно-информационных исследований

Отдел отечественной и зарубежной истории

Большакова О.

Новая политическая история России: Современная зарубежная историография. Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. Центр социал. и науч.-информ. исслед. Отд. отеч. и зарубеж. истории. – М., 2006. – (Сер.: История России). – 98 с.
ISBN 5-248-00255-9

В обзоре анализируются новые тенденции в зарубежной историографии России, связанные с формированием в 1990-е годы направления «новой политической истории». Особое внимание уделено американской историографии. Рассмотрены работы, посвященные ключевым проблемам российской истории: создание гражданского общества, история русской революции, формирование советской системы, национальный вопрос в Российской империи и СССР и т.д.

ББК 63.3(2)

ISBN 5-248-00255-9

© ИНИОН РАН, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Новая политическая история России: Методы и подходы	10
Империя и ее окраины: Новая система координат для изучения истории России.....	15
Формирование общества современного типа и теория модернизации	26
Проблема преемственности и изменений на примере исследований петровской эпохи.....	33
Политический дискурс: Новые подходы к изучению российского абсолютизма XVIII в.....	38
От подданных к гражданам	48
Великий Октябрь и корни формирования советской системы.....	64
В поисках национальной идентичности	75
Список литературы.....	94

Введение¹

Термин «новая политическая история» не впервые появляется в исторической науке. Стремление обновить старейший жанр историописания возникало и ранее и особенно ярко проявлялось в переломные для науки периоды. Так, в 1960-е годы, в условиях широких изменений в исторической профессии, связанных с движением за новую, социально-научную историю и радикальным пересмотром позитивизма, возникают многочисленные «новые» исторические дисциплины – новая социальная история, история женщин, «зеленая», «черная» история и др. Тогда особенно остро осознавалось, что традиционная политическая история, «повествовательная и событийная», «позитивная» по своему характеру, явно устарела. На волне интереса к компьютерным технологиям, позволившим обратиться к обработке массовых статистических источников на новом уровне, с применением количественного анализа, возникает «новая политическая история». Особенно широкое распространение получила она на американском континенте. Тесно связанная с политологией, она изучала политическое поведение больших и малых групп людей на основе результатов голосования на выборах, материалов анкетирования и т.д. В соответствии с «духом времени», когда в условиях НТР резко повысился престиж точных наук, считалось, что привнесение математических методов в исторические исследования немедленно даст исчерпывающие ответы на все вопросы. Представлялось, что измерение (квантификация) исторических феноменов является не только неопровержи-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 05-01-1053а.

мым способом истинно научной аргументации, но и главным инструментом в понимании сути явлений и в выявлении объективных законов общественного развития. Со временем стало понятно, что «измерение прошлого» не может претендовать на лидерство в исторической науке. Клиометрия (буквально – измерение истории) заняла свою нишу среди других исторических дисциплин, а разработанные ею методы успешно применялись и продолжают применяться историками.

Однако уже тогда наблюдались и другие подходы к изучению политики, которые с позиций сегодняшнего дня оказались более перспективными. Первые признаки того, что сегодня начнут понимать как «новую политическую историю», появились в медиэвистике, которая занялась изучением королевской власти и ее символики. Особое значение здесь сыграла вышедшая в 1957 г. книга Э. Канторовича «Два тела короля», которая дала возможность посмотреть на репрезентацию власти и обратиться к изучению политической теологии. В центре внимания историков теперь оказываются не традиционные категории государства и нации, а феномен власти и те реалии, которые он в себя включает. Таким образом, предмет политической истории значительно расширился. Она стала «историей политического», а не политики (по определению Ж. Ле Гоффа²), и заимствовала «проблематику, методы и дух» наиболее авторитетных тогда социальных наук – антропологии, политологии и структурно-функциональной социологии. Тем не менее, вплоть до 1990-х годов обновленная политическая история не претендовала на ведущее положение среди других дисциплин. Лишь в последнее время она стала заявлять о себе в мировой историографии и особенно громко (и впервые) в такой дисциплине, как изучение истории России.

Возникновение сегодняшней «новой политической истории» связано с бурными событиями в мире конца 80-х – начала 90-х годов: окончанием «холодной войны», распадом СССР и крушением коммунистической идеологии. Повсеместный интерес к политике не обошел и историческую науку, и особенно это сказалось на

² Программная статья Ж. Ле Гоффа была впервые опубликована в 1971 г. Русский перевод см.: Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история новым хребтом истории? // THESIS. – М., 1994. – Вып.4. – С. 177–192.

русских исследованиях за рубежом. 90-е годы открыли новые перспективы и возможности для изучения России зарубежными историками, что связано в первую очередь с открытием российских архивов. Одной из характерных черт сегодняшнего времени стало то, что политическая история России явно переживает второе рождение, обогатившись новыми подходами и методами, расширив предмет своего исследования. Наиболее ярко это движение проявляется в Соединенных Штатах, которые уже долгие годы держат первенство в изучении истории России.

Строго говоря, политическая история никогда не исчезала из русских исследований в Америке. Продолжали выходить интересные и содержательные работы, в особенности по дореволюционной России. Однако она была «в немилости» у поколения 60-80-х годов, во времена расцвета социальной и культурной истории, вспоминает Шейла Фицпатрик. Ее считали «скучной», «старомодной», идеологически нагруженной. Молодое поколение американских историков, занимавшихся изучением советского периода, часто испытывало «настоящее отвращение к политике». Помимо того, что они считали своим долгом писать историю «снизу», это была реакция на командное положение политологов и господство в советологии идеологии «холодной войны». Наконец, существовала проблема источников, поскольку советские архивы, в особенности по истории «высокой» политики, оставались в значительной степени недоступными. В этих условиях тот факт, что западные историки-русисты старались избегать политических тем, вполне понятен и объясним (15, с. 27).

Сегодня ситуация радикально изменилась. С окончанием «холодной войны» идеология уже не довлечет над историческими исследованиями, советология как дисциплина исчезла, российские архивы открыли свои двери для иностранцев, а культурная история внесла новую струю в изучение политики. Тем не менее, политические потрясения в СССР и Восточной Европе не могли не вызвать кризисных явлений в западной русистике, которая утратила свой особый статус дисциплины, изучающей гипотетического врага, и должна была на общих основаниях интегрироваться в историческую науку своих стран. Наряду с институциональным наблюдался и концептуальный кризис: после распада Советского Союза радикально изменился историографический контекст и для

советского, и для дореволюционного периода истории России. «Советский эксперимент» отошел в область прошлого и приобрел все черты исторического феномена, а революция 1917 г. перестала быть определяющим событием русской истории и ретроспективной точкой отсчета для исследователей императорского периода.

Кризисные явления в разной степени проявились в исторической науке европейских стран и США, однако большинство специалистов единодушно связывали надежды на дальнейшее развитие своей дисциплины с открытием российских архивов – «архивной революцией», которая сулила неведомое прежде богатство источникового материала. Надежды эти оправдались далеко не в полной мере, хотя в первые годы доступ к новым источникам несомненно явился импульсом для развития русских исследований, в особенности для политической и региональной истории.

Рассматривая влияние «архивной революции» на изучение русской истории, многие исследователи отмечают, что новый материал стимулирует исследования, может привнести в дисциплину новые темы, разрешить некоторые фактические неточности, но сам по себе не способен породить новую парадигму. В выработке свежих концепций скорее играют роль такие факторы, как мировоззрение историка, его исследовательская программа, и, главное, время, в которое он работает (см. 21, 24, 33). Именно серьезные изменения в «контексте» – тех исторических обстоятельствах, в которых живет и работает исследователь, порождают новый взгляд и стремление критически пересмотреть устоявшиеся представления. Говоря об определяющей роли самого исследователя, а не новых источников в формировании новой историографии, С. Коткин подразумевает не «склонности и предубеждения» историка, а «те аналитические категории, которые он использует, темы, которые он избирает, вопросы, которые он ставит (или не ставит), разделяемые им (сознательно или нет) исходные предположения, преследуемые им политические и личные цели в рамках принятых в профессии правил и условностей» (33, с. 37–38). Не менее важным фактором, считает американский историк, является процесс смены поколений. Действительно, в американской исторической русистике с приходом в конце 80-х – начале 90-х годов в науку молодого поколения «внуков», как окрестил их Майкл Дэвид-Фокс, явно начался новый период. Для «внуков» характерно

критическое отношение к тем подходам, которые были выработаны предыдущими поколениями историков, обновление «интеллектуальной повестки дня» под влиянием общих сдвигов в исторической науке в сторону гуманитарного знания и обостренный интерес к политическим аспектам жизни общества (1, с. 14, 16). С приходом нового поколения связывают надежды и в германском россиеведении, которое в наибольшей мере испытало на себе последствия политических потрясений конца 80-х – начала 90-х годов³. Это поколение, сформировавшееся профессионально после окончания «холодной войны», свободно от ее идеологических шор и обладает иным менталитетом. Оно не приемлет логики противостояния, определявшей весь климат и направленность исторической русистики в предыдущие десятилетия, отказывается от оценочных суждений и всячески избегает «теоретических рамок», стесняющих свободу исследователя.

Именно с этим поколением связывается нарастание с середины 90-х годов потока исторической литературы, которую уже окрестили «новой политической историей». В чем же заключается новизна разнообразнейших по жанру и темам работ и что их объединяет? Новизна может быть разной. Это могут быть новые интерпретации и новые оценки традиционных проблем, корректирующие многие представления, которые сложились в историографии в годы «холодной войны». Однако это может быть и новизна подходов и методов к изучению новых тем и предметов исследования. Именно здесь и лежит «новизна» новой политической истории. Ее особенности наиболее ярко выявляются в противопоставлении с классической политической историей, с ее вниманием к «высокой» политике и методологией, заимствованной главным образом из политологии. Под влиянием «культурного» и «лингвистического» поворотов политическая история не только обогатилась новыми методами, но и значительно расширила свое исследовательское поле, что связано с более широким пониманием политики. Политика сегодня понимается историками скорее как «комплекс взаимосвязанных практик», которые оказывают влия-

³ Никонова О. Как чувствует себя «приговоренный к смерти», или германское россиеведение на рубеже веков // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя. – М., 2003. – С. 452–457.

ние на формирование как социальной среды, так и политической культуры индивида (32). И потому на передний план вышли такие области исследования, как политика повседневности, местная политика во взаимодействии с центром, политика как коммуникация. При этом центральное место в историографии России занимают сегодня исследования политического дискурса и политических практик в их взаимосвязи с идеологией. Но самое главное, что новые исследования не только существенно корректируют наше понимание истории России, но и открывают перспективы для дальнейших исследований.

«Новая политическая история» России активно развивается в США, в основном силами молодого поколения историков, защитивших диссертации в конце 80-х – 90-е годы. Этой теме был посвящен отдельный номер журнала «Критика» за 2004 г. В программной статье редакторов и издателей журнала фиксируется возникновение новой историографии и намечаются некоторые подходы к изучению «политического» (32). В Германии в рамках «новой Билефельдской школы» исследуются символы, семантика, дискурсы, практики и media «политического как коммуникативного пространства в истории» в том числе и в применении к России (7, с. 153). Билефельдскими славистами-культурологами был подготовлен на русском языке сборник «Советская власть и медиа». Они активно сотрудничают с российскими коллегами в Ярославском педагогическом университете и Европейском университете в Санкт-Петербурге. В свет выходят несколько сборников⁴. В самом Европейском университете Санкт-Петербурга также активно разрабатывается проблематика «новой политической истории», регулярно проводятся семинары с привлечением зарубежных историков и выпущен интересный сборник статей с содержательным предисловием М.М. Крома (2). Что касается французского руссиеведения, которое уже долгие годы сосредоточено на изучении советской истории, то здесь отмечается активное развитие «обновленной» социальной истории в ее тесной взаимо-

⁴ Die Sprache des Politischen. Medien und Medialität in der Geschichte. – Göttingen, 2004; Politische Inklusion und Partizipation: Strukturen und Semantiken. – 2004; и др.

связи с политикой⁵ на фоне острых дискуссий вокруг теории тоталитаризма в применении ее к истории СССР (см. 4). Потенциал французской исторической русистики несопоставим с американской, и самым серьезным ресурсом для ее дальнейшего развития представляется сотрудничество с российскими коллегами, которое в последнее десятилетие значительно активизировалось.

Задачи предлагаемого обзора достаточно скромны: познакомить читателя с некоторыми новаторскими работами по истории России, которые представляются самыми значительными и одновременно наиболее характерными для современной историографии. Они сгруппированы по нескольким ключевым темам, занимающим сегодня центральное место в западной русистике. Безусловно, настоящая публикация, в которой основное внимание уделено американской историографии России, не претендует на полноту и никоим образом не исчерпывает всего разнообразия сегодняшней «новой политической истории».

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Одним из центральных вопросов, вставших перед западными историками-русистами в 90-е годы, был вопрос о том, как писать историю России после крушения коммунизма. Особенно это касалось проблематики, связанной с историей русской революции и формированием советской системы.

В западной русистике, которая с начала 90-х годов пережила поистине впечатляющий «взлет», складывается новая историография. Ее характеризует более позитивный взгляд на историю России, свободный от предубеждений эпохи «холодной войны». История России интерпретируется сегодня как история «успехов», а не «провалов». Исследователи стремятся понять и объяснить, что же обеспечивало столь долгое процветание России, и отказываются от акцентирования ее «аномальных» отличий от Запада. Отсюда – повышенный интерес к общеевропейскому контексту, в

⁵ См., например, сборник: *Pouvoirs et societe en Union sovietique.* – Paris, 2002.

котором история России предстает необходимой составной частью мирового исторического процесса. В то же время новая историография демонстрирует удивительную свободу в преодолении прежде жестких географических границ и хронологических рамок, что особенно ярко проявляется в исследовании имперского аспекта российской истории. Историки с легкостью перемещаются в пространстве и выходят за строгие рамки исторических периодов. История революции, например, объединяется в один блок с Первой мировой и Гражданской войнами. При изучении проблем построения государства и общества современного типа, в том числе процесса трансформации подданных в граждан, развития массовой политики исчезает водораздел 1917 г. между имперским и советским периодами. На передний план выходят вопросы изучения империи, «русоцентристский» угол зрения сменился многонациональным, а открытие региональных архивов позволило переместить фокус исследования из Москвы и Петербурга в провинцию и на окраины империи. Кроме того, новый тип исторического мышления, сформировавшийся в эпоху постмодерна, отказывается от системы противопоставлений, характерных для науки XIX–XX вв., и склонен к изучению преемственности, а не разрывов в историческом процессе. Однако все перечисленные характеристики не являются определяющими для характеристики «новой политической истории».

Что отличает «новую политическую историю» от классической «событийной», так это антропологические и культурологические методы анализа «политического». Культурная история, в частности, стала ведущим инструментом для изучения символического и ритуального аспекта политики. Центральным для новой политической истории стало представление о «сконструированности» привычных для нас социальных феноменов – таких, как государство, нация, общество, рыночная экономика. Современные историки считают, что все это – исторические конструкции, созданные людьми, которые при этом влияют на индивида и в свою очередь реконструируют его. Особую важность в этой ситуации приобретает язык, который не только выражает, но и конституирует мир политического, в том числе политическую риторику. Одним из важнейших инструментов анализа сегодня стала категория идентичности, которая, в отличие от жестких социальных

категорий (класс, нация, гендер), является подвижной, множественной, фрагментированной. Кроме того, привнесение в историческую науку представлений о субъективности и взаимном конституировании индивида и социальной структуры заставляют историков отказываться от парадигмы позитивизма и воздерживаться от поиска причинных объяснений исторических событий. Причинно-следственные связи представляются сегодня более сложными, многоплановыми и опосредованными.

Влияние «культурного поворота» на изучение политики было рассмотрено американским историком Р. Суни (46). Он пишет, что под влиянием М. Фуко и растущего интереса к языку изменилось направление вектора исторических исследований, переместившись из области материального «в царство дискурса, культуры и языка». Концепция дисциплинарного общества Фуко изменила понимание политики, вынеся анализ власти за пределы государственных институтов в область дискурсов и самого человеческого тела. Принципиально новая концепция власти, разработанная Фуко, предполагала ее внутренний характер по отношению к индивиду, подчеркивая ее «субъективирующую, а не субъективную» сущность. Под влиянием работ Фуко историки обратились к исследованию режимов господства, власти, интересов, политического языка. Сама сфера политики в условиях культурного поворота расширилась. Укореняется представление о культурной сконструированности политики и нагруженности культуры политическими смыслами, ее глубокой взаимосвязи с политической практикой. Появляется механизм для изучения дисциплинарных и властных отношений, которые формируют политический режим. Возвращая государство в исторические исследования, современная историография указывает на конструктивную роль культуры в формировании государства. Таким образом, культурный поворот расширил круг «законных» тем исторического исследования, «внедрив политику в повседневную жизнь». «Идентичность, дискурс и аффект были привнесены в игру в объяснении политического выбора, не только в микрополитике повседневной жизни, но и на уровне государства», – пишет американский историк (46, с. 1488).

Он отмечает, что политика является «процессом, посредством которого власть и знание конституируют идентичность и

опыт». При этом цели, стратегии и предпочтения людей «создаются и обретают значение только в рамках культурной системы». Отсюда особое внимание к языку, который не только выражает, но и конституирует политический мир, помогая сформировать восприятие статуса, интересов, идеологии и значений (46, с. 1494).

Концепция дискурса, таким образом, серьезно обогатила представления о политике, наше понимание государства, языков и репрезентаций власти, пишет Р. Суни. Именно поэтому в центре внимания современных исследователей находится процесс лингвистического и символического конституирования современной политической риторики.

В то же время, указывает американский историк, особенно большой вклад «культурный поворот» внес в исследование наций и национализма. Сама идея сконструированности наций, как и культур в целом, и центральное значение «веры, репрезентации и воображения» в формировании культур и наций бросают вызов позитивистским теориям этнического конфликта и открывают возможность для новых конструкций национальной идентичности (46, с. 1497–1498).

Достижения социальной истории также оказали серьезное влияние на сегодняшнее изучение политики, для которого характерно повышенное внимание к политическим практикам в их взаимосвязи с идеологией. В ряде случаев грань между историей повседневности и политикой стирается (например, когда речь идет о повседневном сопротивлении). Повседневная практика рассматривается в политическом контексте и во взаимосвязи с действиями государства. Однако социальные историки и историки повседневности, отдавая должное политике, все же в первую очередь стремятся понять, как функционировало общество. Так, в первой главе монографии «Повседневный сталинизм» подробно рассматриваются политические практики, но они служат лишь необходимым контекстом для понимания социального (см. 5).

Размышляя о том, как писать новую политическую историю, основанную на исследованиях повседневных практик, Ш. Фицпатрик указывает, что сначала следует заново сформулировать исследовательские вопросы, поскольку здесь главной целью является понимание политики, а не общества. Например, следует перенести акцент с социального значения на политическое использование

доносов как орудия высокой политики или как средства мобилизации населения, что было характерно для эпохи Большого Террора. При изучении системы покровительства в фокусе исследования должно оказаться воздействие этой практики на патронов, а не клиентов, чем занималась социальная история. (15, 38–39).

Кроме того, Ш. Фицпатрик предлагает обратить внимание на взаимоотношения политической практики и идеологии. В переломные моменты советской истории часто случалось так, что практика получала идеологическое обоснование уже постфактум. Так произошло с феноменом «выдвиженчества», борьбой с «классовыми врагами» и «чуждыми элементами». Эти практики были постепенно инкорпорированы в систему верований большевиков. Однако существуют и другие варианты взаимоотношений между практикой и верованиями. Некоторые практики не несут в себе идеологической нагрузки и о них думают как о «правилах игры» (например, защита ведомственных интересов).

Как справедливо заметила Ш. Фицпатрик, изучение политических практик царского и советского режимов, в том числе «политики повседневности» представляется сегодня крайне перспективным направлением. Однако это лишь один из аспектов новой постсоветской историографии России на Западе. Глубокие изменения, которые претерпела историческая русистика после 1991 г., затронули основные представления о ходе эволюции России на парадигмальном уровне. Возникли новые термины, новые концепции, хотя говорить о новой парадигме истории России, которая заменила бы бытовавшие ранее тоталитарную и модернизационную парадигму, еще рано. То, что наблюдается сегодня, скорее свидетельствует о «ревизии» господствовавших в советское время концепций, о новой интерпретации «русского пути» в связи с построением государства и общества современного типа (модерности), о перераспределении акцентов в изучении политики и идеологии России на основе дискурсивного анализа. Наиболее радикальным отрывом от традиционной историографии является, пожалуй, подход к изучению России как многонациональной империи, а не национального государства.

ИМПЕРИЯ И ЕЕ ОКРАИНЫ: НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

Переосмысление истории России в рамках имперской парадигмы вызвало к жизни такое количество работ, что некоторые специалисты заговорили о возникновении отдельной дисциплины – «новой истории империи». Историография этой проблематики достаточно обширна и включает в себя ряд теоретических работ, сфокусированных на выработке новых дефиниций и понятий. Так, в статье американского историка Марка фон Хагена (17) рассматривается формирование в США новых подходов к изучению истории России и стран бывшего Советского Союза, группирующихся вокруг понятия «Евразия», которым обозначили постсоветское пространство.

Распад СССР и окончание «холодной войны», наряду с определенными изменениями в самой исторической науке, явились причиной своего рода «кризиса идентичности» у историков, занимающихся этим регионом, пишет автор. В частности, в новой геополитической ситуации потребовалось название для пространства, занимаемого бывшими 15 советскими республиками. Возникший и утвердившийся сегодня термин «Евразия» является не только географическим. Он отражает процесс децентрализации исторических исследований, которые раньше фокусировались главным образом на Москве и Санкт-Петербурге, и одновременно демонстрирует стремление историков-русистов преодолеть изоляцию своей дисциплины, которая ранее находилась на «интеллектуальной периферии» американской исторической науки (17, с. 446). Кроме того, в применении к историческим исследованиям региона термин «Евразия» подразумевает применение новых подходов. Во-первых, признается решающая роль империй в истории Евразии, в том числе Российской империи и Советского Союза. Во-вторых, присущие эпохе «холодной войны» представления об изолированности стран, разделенных «железным занавесом», сменились осознанием проницаемости границ между империями – отсюда повышенное внимание историков к «окраинам» и возрождение региональной истории. В-третьих, в свете сегодняшних воззрений, придающих особое значение разнообразию и мобильности

в историческом процессе, особый интерес вызывают различные диаспоры и их роль в истории того или иного региона. Наконец, термин «Евразия» сигнализирует о стремлении историков освободиться от некоторых ограничений, налагавшихся прежними парадигмами, и в этом смысле «Евразия» выступает сегодня как «антипарадигма» (17, с. 447–448).

М. фон Хаген коротко обрисовывает две парадигмы, господствовавшие ранее в американской русистике (и не утратившие окончательно свои позиции), условно обозначая их как «Россия/Восток» (по всей видимости, здесь имеется в виду комплекс представлений, получивший название «тоталитарной» парадигмы) и «Советский Союз/модернизация».

«Евразия», выступая как антипарадигма по отношению к двум своим предшественницам, отрицает «монолитный и статичный культурный детерминизм парадигмы «Россия/Восток» и в то же время пытается учитывать значение долговременных экологических, демографических, экономических и культурных структур для понимания процессов и результатов гигантских изменений, которые изучала модернизационная парадигма», пишет М. фон Хаген (с. 454).

При рассмотрении новой «антипарадигмы» нельзя избежать обращения к ее интеллектуальному багажу – теории евразийства, возникшей в среде русских эмигрантов в межвоенный период, указывает автор. Подробно описывая становление и сущность этой теории, на содержание которой в огромной степени повлияли катастрофические события 1914–1920 гг., он выделяет те ее аспекты, которые сегодня усваиваются и используются историками. Во-первых, это крайне критическое отношение к «близорукой» европоцентристской точке зрения и однозначно негативной оценке «азиатского» влияния на историю России. Во-вторых, это рассмотрение истории России как многонациональной империи. В то же время политическое содержание евразийской мысли в том, что касается интеллектуального оправдания имперского авторитаризма, откровенно антилиберальной идеологии и в особенности неоимпериалистских устремлений сегодняшних евразийских движений в России, на Украине и в Средней Азии, отвергаются историками. В этом как раз и заключается главная причина того,

почему автор назвал новый подход к изучению истории региона «антипарадигмой» (17, с. 455–456).

Важнейшей частью наследия евразийской мысли, пишет он, является ее стремление разрушить «идеологизированные представления о просвещенной динамичной Европе и отсталой, статичной Азии», что открывает новые горизонты для исследователей. Конечно, сегодня, когда позади остались лингвистический и культурный поворот, и широкое распространение получили постколониальные исследования, эти идеи не кажутся уже революционными, отмечает автор (17, с. 457). Весь этот багаж нашел свое применение в новой историографии, большой вклад в изучение проблем строительства империи вносит также социальная и культурная антропология.

В целом, указывает М. фон Хаген, евразийская антипарадигма отдает предпочтение сравнительной истории народов, идей и экономики в их взаимодействии. Сегодняшняя концепция Евразии, таким образом, не признает веры евразийцев в самодостаточность Российской империи, в ее «исключительный» путь развития. Отмечая неопределенность географических границ нового термина и хронологических рамок исследования, автор указывает, что поскольку Евразия не идентифицируется с формированием какого-то конкретного государства, это дает новому поколению историков исключительную свободу в преодолении и пересечении установленных прежде жестких временных границ, будь то 1917, 1861 или 1989 г. Более того, те вопросы, которые ставят перед собой исследователи, не только позволяют, но и вынуждают их выходить за строгие рамки исторических периодов, разрушая таким образом строгое разделение специалистов по дореволюционной и советской истории (17, с. 460).

Изучение имперского измерения истории России вызвало к жизни много новых тем для исследования. В первую очередь это образы «другого» в общественном сознании, в том числе в представлениях чиновников, осуществлявших практическое управление ее окраинами. Кроме того, внимание исследователей сосредоточилось на изучении проблем формирования идентичности, символик и мифологии империи. Не останавливаясь подробно на

исследованиях многонациональной Российской империи⁶, обратимся лишь к некоторым работам, с одной стороны, новаторским, с другой – типичным для современной историографии.

Проблемам изучения «образов» Российской империи и сложившейся на протяжении нескольких веков мифологии империи посвящен сборник материалов конференции «Имперская личность в России Нового времени», которая состоялась в университете Хельсинки в сентябре 1999 г. Составители сборника (22) Крис Чулос и Йоханнес Реми указывают на необходимость дать новое определение понятия «империя», учитывая его изменения во времени. Они отмечают также, что в контексте современных исследований мировых империй для России следует сформировать специфическую терминологию, которая учитывала бы различия между «Россией» как воплощением имперской мощи и величия и «русскими» как отдельной этнической и культурной группой.

По мнению авторов Введения, возникшая в XVI–XVII вв. империя представляла собой «рыхлое» государственное образование, и только благодаря реформам Петра I получила эффективную административную систему. Однако построение эффективного управления шло за счет национально-государственного строительства. Несмотря на все достижения, которые империя продемонстрировала в XVIII в., она постепенно становилась символом не столько прогресса и просвещения, сколько пороков самодержавного деспотизма и угнетения. В конце XIX в., с возникновением общества современного типа (и зачатков гражданского общества), распространение образования и грамотности, массовой литературы, возникновение рабочего класса и развитие национальных движений подрывают идею самодержавия. В своих попытках сократить пропасть между царем и народом Александр III и Николай II обратились к архаичным романтическим образам Московского царства, предпочитая окунуться в идеализированное прошлое, вместо того, чтобы отвечать на настоятельную потребность в политической и социальной реформе. Как считают авторы, такая реформа могла привести к конституционной монархии, которая спасла другие великие империи Европы (22, с. 10–11).

⁶ Более подробно см., в частности: Большакова О.В. Российская империя: Система управления (Современная зарубежная историография). – М., 2005.

Идея империи, пишут К. Чулос и Й. Реми, могла служить объединению фрагментированного общества «в периоды бедствий и торжества». Однако после победы большевиков и канонизации трудов Ленина слово «империя» стало применяться только по отношению к врагам коммунизма, хотя проводившаяся советским государством внутренняя и внешняя политика являлась, по сути, империалистической. Была построена мировая коммунистическая система, основанная на связях патрон-клиентского типа, под лозунгом освобождения от гнета старых европейских империй. При этом советская империя официально не существовала, и когда Рейган объявил Советский Союз «империей зла», это явилось шоком для советского руководства. В конце 80-х годов главной угрозой распадающемуся режиму стало формирование движений за национальную независимость в бывших республиках. А в последнее десятилетие России пришлось иметь дело с парадоксами мировых тенденций глобализации и интернационализации (в частности, в форме региональных экономических и военных союзов), которые сопровождаются худшими формами местничества и ксенофобии (22, с. 12).

Представления об империи, мифы и образы империи, сложившиеся в России за века ее существования, по сей день сохраняются в сознании ее властителей и ее населения. Представленные в сборнике статьи рассматривают чрезвычайно гибкие по своему характеру ключевые культурные символы, которые в своей совокупности обеспечивали чувство преемственности и общности империи на протяжении веков (22, с. 15).

Правящие круги России всегда были исключительно чувствительны к своей репутации в глазах общественности, будь то «просвещенный абсолютизм» эпохи Екатерины II или «империя зла» в годы «холодной войны». Этой проблематике посвящен первый раздел сборника – «Официальные мифы». Елена Хеллберг-Херн (ун-т Хельсинки) исследует «петербургский текст» – произведения литературы и искусства, посвященные городу на Неве, – как текст имперский. Она рассматривает мифы и образы Санкт-Петербурга–Петрограда–Ленинграда, сложившиеся в литературе и общественном сознании на протяжении столетий. Центральным для «петербургского мифа» является пушкинский «Медный всадник» – символ государственной власти и великолепия империи,

обратившийся в кошмар, который преследует и уничтожает «маленького человека», посмеявшегося бросить ему вызов. В «петербургском мифе» Достоевского имперская столица является воплощением «искусственного государства», отделенного от России и далекого от нужд и интересов русского общества. В XX в. Петроград–Ленинград по-прежнему оставался средоточием мифов: «колыбель революции», «город-герой» и т.д. Хотя Санкт-Петербург с 1918 г. уже не является имперской столицей, он остается столицей имперской культуры.

В культурном наследии России, в интерпретации автора, большое место занимают «вековые» оппозиции: жестокие варварские реформы, имеющие своей целью принести цивилизацию; «рациональная» европейская культура Санкт-Петербурга и «иррациональная» культура Москвы; построение упорядоченной жизни посреди девственной дикости и др.

Мари Мяки-Петэйс (ун-т Оулу) в своей статье «Воин и святой: Изменяющийся образ Александра Невского как аспект русской имперской идентичности» показывает, что официальная и неофициальная Россия рассматривала Александра Невского как значимый символ имперской идентичности. Сначала это был образ средневекового святого-воина и защитника русского народа в борьбе против иноземных захватчиков. Затем советские идеологи в эпоху Второй мировой войны попытались с его помощью вызвать антигерманские настроения и чувства, а в последнее время образ Александра Невского завоевал прочное место в романтических интерпретациях Московского царства как гармонического государства.

Негативный образ России в глазах западного мира исследуется в работе Иейна Лохлана (Оксфорд) «Особое царство? Миф об охранке и русская имперская «непохожесть», 1881–1917». С открытием советских архивов исследователи получили великолепную возможность ознакомиться с основным корпусом текстов по истории и деятельности охранки, и оказалось, что масса привычных сведений и суждений относятся к категории мифов, пишет автор (22, с. 71). Изучение этих мифов имеет огромное значение, учитывая их влияние на историографию истории России XIX – начала XX в. Интересно, что как институт охранка представляла

собой ряд разрозненных учреждений с очень слабыми связями, и сложилась довольно поздно. В чем же секрет ее репутации?

Миф об охранке – жестокой тайной полиции – сформировался сначала за рубежом, указывает автор. Он удовлетворял негативным стереотипам и представлениям о русской национальной идентичности и являлся одной из главных составляющих западного «образа» России. Считалось, что повсеместное проникновение репрессивного органа в жизнь подданных Российской империи, его всеобъемлющее влияние является характерной особенностью России, коренится в русском национальном характере и подтверждает «особость» русского пути.

После революции 1917 г. этот миф получил дополнительное развитие за рубежом, поскольку, с одной стороны, органично вписывался в повествование о падении царского режима, а с другой – доказывал, что у советской тирании были русские национальные, а не идеологические корни. В свое время царские чиновники и администраторы, в свою очередь, с удовольствием эксплуатировали этот миф как источник усиления своей власти. Однако сравнительное изучение полицейских практик показало, что Российская империя следовала здесь по западноевропейскому пути, перенимая те или иные институты и методы у Франции, Австрии и других стран. «Непохожесть» России заключается в тех трудностях, которые возникают при перенесении западноевропейских моделей на русскую почву. По заключению автора, уникальной особенностью России является именно миф об охранке, а не реальность, которая не слишком отличалась от современной ей Западной Европы (22, с. 99).

Второй раздел («Восприятие империи и нации в обществе») фокусируется на небольших социальных группах, истории повседневности и народной культуре. Крис Чулос (ун-т Хельсинки) в своей статье «Рассказы империи: Миф, этнография и деревенские легенды в России XIX в.» исследует роль этнографии и мифа в создании «имперской личности». Автор обращается к изучению провинциальных городков и сел, чтобы посмотреть, как имперские мифы интегрировались в местные легенды. В конце XIX в., приходит к выводу автор, имперская идентичность в крестьянской среде выражалась в чувстве гордости за свою огромную страну, ее военные победы, а также в принадлежности к православной религии.

Последний раздел книги, «Конфликтующие идентичности в империи», посвящен образу «других» народов, населяющих Российскую империю. Статья Йоханнеса Реми (ун-т Хельсинки) «Украинофильская интеллигенция в ее отношении к Российской империи в начале царствования Александра II (1856–1863)» показывает сложные взаимоотношения между двумя восточнославянскими народами. Пытаясь соблюсти равновесие между прогрессивными реформами и внутригосударственной стабильностью, русское правительство стремилось задуть украинское национальное чувство. Неудивительно, что в бурную эпоху 1860-70-х годов украинские интеллектуалы отвечали повышенным интересом к собственному историческому развитию и собственной традиции, идущей от Киевской Руси, пишет автор. Однако акцент на украинской идентичности мог сочетаться с самыми разными позициями по отношению к Российской империи, указывает историк. Когда в 1863 г. началось польское восстание, украинское национальное движение, хотя и было еще очень слабым, признавалось серьезным фактором в этом конфликте. Парадоксально, отмечает Й. Реми, но, при всех своих демократических настроениях и идеалах, украинофилы в Киеве выступили в поддержку империи, чтобы сохранить ее территориальную целостность (22, с. 196). Однако в идеях украинофилов в Санкт-Петербурге (кружок Костомарова) и в Киеве (В. Антонович, В. Лобода, А. Шиманов) автор не находит ничего «имперского» по своей сути. Исследование их взглядов и программ приводит к выводу, что здесь зрели зерна будущего политического конфликта (22, с. 198).

Новый «имперский», культурно ориентированный подход оказался плодотворным и для изучения такой достаточно традиционной и, казалось бы, не подверженной ревизии проблематики, как история внешней политики Российской империи. Однако Д. Схимальпенинку ван дер Ое в исследовании предпосылок русско-японской войны удалось привлечь все достижения современной историографии. В основе его новой монографии «К восходящему солнцу» (39), посвященной российской экспансии на Дальнем Востоке, лежит изучение «интеллектуальной мотивации принятия решений» на высшем уровне, которая нашла отражение в соответствующем дискурсе. Чтобы правильно понять противоречивый курс русской дипломатии перед 1904 г., считает историк, следует

сначала изучить те идеи, которые вдохновляли Николая II и государственных деятелей тех лет «повернуться лицом к Востоку».

Автор считает, что действия царской дипломатии в Азии очень редко направлялись какой-то одной доктриной. Внешняя политика Российской империи накануне Русско-японской войны формировалась под воздействием нескольких интеллектуальных течений, в чем-то взаимодополняющих, а в чем-то и противоречащих друг другу. Анализ циркулировавших на рубеже веков в Петербурге идей и представлений об Азии, их влияния на царскую дипломатию проливает свет на предвоенную политику России.

В 1894 г., с восшествием на трон Николая II, азиатская политика империи «очнулась от долгого забвения». Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, амбициозные планы Витте по строительству Транссибирской железной дороги, что должно было содействовать развитию приобретенных в царствование Александра II тихоокеанских территорий. Во-вторых, легкая победа Японии над Китаем в короткой войне, обнаружившая слабость Поднебесной империи, разожгла аппетиты европейских стран, и в России начали мечтать о блестящей судьбе империи на Дальнем Востоке. Эти мечты принимали разные обличья. Идеология империи в ее продвижении на восток, считает автор, складывалась тогда из нескольких комплексов мифов и представлений и иногда выливалась в форму артикулированных доктрин. Министр финансов Витте считал Китай ареной для применения его доктрины «мирного проникновения», согласно которой экономическое и политическое влияние в других странах устанавливается без непосредственного территориального завоевания и последующего прямого управления колониями. Однако доктрина Витте не встречала серьезной поддержки в обществе. Причины этому автор видит в том, что подавляющая часть русской элиты – общества – была настроена традиционалистски. Общественные настроения лучше всего выражал чеховский «Вишневый сад», и здесь не было места восхищению деловой сметкой и напористостью новых деловых людей.

Военный министр А.Н. Куропаткин был настроен, напротив, крайне пессимистически. Он говорил о «желтой угрозе» поглощения нескольких миллионов русских, проживавших в Сибири, 400 миллионами китайцев, хотя и не употреблял этот термин пуб-

лично вплоть до своей отставки. Позиция Куропаткина по отношению к Китаю была исключительно оборонительной. Проблема «желтой угрозы» не воспринималась в обществе всерьез. Это была «модная» тема для литературной и художественной интеллигенции эпохи «серебряного века».

Наибольшее влияние на общественное сознание и политику России на Дальнем Востоке рубежа веков оказывали две другие концепции, также противоположные по своей сути и направленности. Произведения известного исследователя Центральной Азии Н.М. Пржевальского, на которых выросло целое поколение, и в том числе юный наследник престола, представляли собой пример «конкистадорского империализма». В них без всякого смущения говорилось о легкости завоевания обширных приграничных областей Китая, которые принесут новую славу России. И на рубеже веков среди военных все еще бытовало убеждение в возможности завоевания Китая силами одного батальона. Китай при этом считался не просто «слабым», «диким», но и явно «низшим» по отношению к России, заслуживающим самого бесцеремонного обращения с позиции силы.

Диаметрально противоположный подход к восточной цивилизации выработался у так называемых «восточников», представленных в книге колоритной фигурой князя Э.Э. Ухтомского. Основной тезис этого интеллектуального течения заключался в том, что России следует вернуться к своим азиатским корням. Восточное наследие России давало Санкт-Петербургу, по мнению кн. Ухтомского, моральное право играть более активную роль в Азии.

Обе последние концепции оказали огромное влияние на юного наследника. Его путешествие по Востоку, предпринятое в 1890 г., также явилось определяющим моментом в становлении представлений будущего императора о неведомых, экзотических восточных странах. Огромную роль в оформлении дальневосточной политики России сыграл бурятский целитель Бадмаев, врачавшийся в высшем обществе и имевший доступ к царю. При этом чем более враждебно относились к Бадмаеву министры, тем выше ценил его Николай, с вниманием прислушиваясь к грандиозным перспективам завоевания Маньчжурии и Кореи, мечтаниям о вовлечении в орбиту своего влияния Тибета и т.д.

Как считает Схиммельпенинк, непоследовательная азиатская политика царя выдавала наличие в его мировоззрении противоречивых элементов, заимствованных из перечисленных четырех идеологических течений. Презрение к военным талантам азиатов, вера в превосходство русского оружия и страстное стремление продвигать империю дальше на восток представляют собой характерные черты «конкистадорского империализма» Пржевальского. Однако реакция царя на восстание боксеров показывает, что он, как и кн. Ухтомский, восторгался Срединным царством и думал о предназначении России на Востоке. И кроме того, пока Николай не утратил веры в своего министра финансов, он был крайне увлечен теми экономическими возможностями, которые открывались перед Россией в результате строительства Транссибирской дороги.

Рассмотренные идеи и интеллектуальные течения играли свою роль и в правительственной среде. Так, доктрина «мирного проникновения» и воззрения кн. Ухтомского явно склонили Петербург к секретному союзу с Пекином в 1896 г., хотя первым желанием дипломатов было встать на сторону сильного, т.е. Японии. Однако когда дело дошло до захвата Германией бухты Цзячжоу, император позволил своей администрации соблазниться «конкистадорским империализмом» Пржевальского и отхватить свой кусок китайской территории. И хотя миф о «желтой угрозе» оказывал наименьшее влияние на воображение общества, тем не менее именно под его воздействием генерал Куропаткин не стремился играть активную роль в Азии и старался занимать исключительно оборонительную позицию, что сыграло роковую роль в исходе войны.

Конечно, автор сам признает приблизительность и неокончателность своих выводов. Роль идеологии в дипломатии представляется гораздо более сложной, чем простая причинно-следственная связь. Интерес Петербурга к тихоокеанскому региону был пробужден также и внешними событиями, однако все же реакция России определялась не только обстоятельствами, но и мировоззрением высших бюрократов, в котором причудливо сочетались разные элементы представлений о месте России в мире и о ее миссии на Востоке.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОГО ТИПА И ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Отличительной чертой «новой политической истории» является глубокое внимание к понятию «современное общество» и связанным с ним теоретическим построениям. Интересно, что накопленный в западной русистике теоретический багаж не отвергается сегодняшними историками, а скорее продуктивно пересматривается на основании современных (постмодернистских) представлений. Характерно, что молодых историков обвиняют в приверженности то тоталитарной, то модернизационной парадигме, хотя принадлежность к какому-либо «лагерю» абсолютно не согласуется с их мировоззрением. Чтобы глубже понять, что собой представляют сегодняшние взгляды на развитие цивилизации Нового времени в России, обратимся к историческому контексту. Историю формирования и борьбы парадигм в американской русистике прослеживает Марк фон Хаген (17).

Сразу после окончания Второй мировой войны, пишет американский историк, господствующей тенденцией в региональных исследованиях была «ориентализация» России и всей Восточной Европы, т.е. подчеркивание «восточных» черт государства и общества в этих странах. В конце 1940-х – начале 50-х годов, в период наиболее острой конфронтации со сталинским режимом, многие западные историки писали о русских традициях деспотизма и империалистской экспансии, которые объяснялись, однако же, необходимостью выживания государства. Корни советской диктатуры искали и находили в Московском царстве, Византии и Орде (17, с. 449).

Враждебная атмосфера «холодной войны» помогла сформировать первое поколение профессиональных историков, подчеркивавших уникальность (или исключительность) России. Наиболее известным и последовательным представителем взглядов этого поколения является Ричард Пайпс, с его акцентом на русском патримониализме и отсутствии частной собственности. И хотя Пайпс считает непосредственным предшественником советской диктатуры «полицейское государство», сложившееся в царствование Александра III, важнейшее значение для формирования «неевро-

пейского» характера России, по его мнению, играли московские корни. В отличие от славянофилов XIX в., которые рассматривали отличие России от Европы в позитивном свете и порицали ее излишнюю вестернизацию, начавшуюся с реформ Петра, парадигма «Россия/Восток» считала непохожесть России чем-то «трагическим и решительно негативным».

Утвердившаяся в американской русистике несколько позже, уже в атмосфере хрущевской оттепели, теория модернизации, напротив, ставила во главу угла европейский путь развития России, прогрессивный, хотя и направлявшийся государством. Теория модернизации побуждала историков помещать историю России и СССР в контекст развивающихся стран Третьего мира. Точкой отсчета для новой парадигмы «Советский Союз/модернизация» являлись великие реформы 1860-х годов, а Россия (и затем СССР) трактовалась как модернизирующееся государство, которое благодаря царской бюрократии начало превращаться из «отсталой крестьянской» страны в «индустриальную». «Изменения», в особенности социальные, оттеснили на задний план «преемственность», социальная история – интеллектуальную и институциональную. Историки начали признавать некоторые успехи сталинского режима, в особенности в том, что касалось образования, здравоохранения, социального обеспечения. Некоторые оптимисты, пишет автор, высказывали даже мнение о постепенной конвергенции Запада и СССР (17, с. 452–453).

И если парадигма «Россия/Восток» в чем-то перекликалась с воззрениями славянофилов, хотя и отличалась в своих оценках, то модернизационную парадигму автор уподобляет российскому «западничеству», которое считало целью исторического развития России превращение ее в истинно «европейскую державу». Отличительным признаком исторической науки этого периода было внимание к социальным аспектам, к макросистемам и глобальным процессам, и формирование национального государства считалось главной целью исторического развития любого государства (17, с. 453).

Сосуществование двух этих парадигм в западной науке не могло быть мирным. Их соперничество выливалось в длительные и острые дискуссии, в первую очередь в связи с вопросами о природе и сущности революций 1917 г., о степени жестокости сталин-

ского режима в сравнении с Третьим рейхом и т.д., указывает М. фон Хаген. Однако здесь следовало бы несколько подкорректировать его оценки и изложение и напомнить, что занявшая господствующее положение в американской русистике в 1970-80-х годах социальная история находилась в жесткой конфронтации с тоталитарной парадигмой. Сражения между старшим поколением «тоталитаристов» и молодыми «ревизионистами» разворачивались вокруг трактовки советского режима. Не утихли они и до сих пор, поскольку в начале 90-х годов приверженцы тоталитарной парадигмы торжествовали победу, считая, что сама жизнь доказала «нереформируемость» Советского Союза и утопичность идеологии социализма. Особенно влиятельным тоталитарное направление оказалось во Франции, где его возрождение вылилось в публикацию небезызвестной «Черной книги коммунизма», переведенной затем на английский и русский языки (4). В США активную полемику с ревизионистами вел Мартин Малиа, причем на страницах не только профессиональных журналов, но в изданиях, предназначенных для широкой общественности. Его выступления заставили историков говорить о том, что «холодная война» в американской историографии Советского Союза еще не закончилась (см. 48).

В отличие от резкой критики тоталитарной парадигмы, где дебаты явно вышли за научные рамки и приобрели характер взаимных обвинений, теория модернизации критиковалась историками достаточно корректно. Критике подвергались прежде всего связанные с ней идеи о линейном характере развития общества и неизбежности «прогресса», который понимается как достижение определенного эталонного образца (в качестве эталона обычно выступали США). Кроме того, ее серьезно критиковали за отсутствие историчности, за излишнюю идеологичность, за претензию на знание того, что «хорошо» и что «плохо» для человечества. Как отмечал Д.К. Во, так и не было выработано какой-либо новой всеобъемлющей концепции, и историкам приходится работать в рамках представлений о процессе перехода от традиционного общества к современному, которые так или иначе связаны с теорией модернизации (49, с. 323–324).

«Новая политическая история» также обратилась к изучению проблематики, связанной с формированием современного об-

щества. Однако, как напоминает С.Коткин, речь идет не о «модернизации», а о «модерности» – феномене, формирование которого уже закончилось, поскольку мы живем в эпоху «постмодерна».

Новое восприятие теории модернизации молодым поколением историков, которые в соответствии с мировоззрением эпохи постмодерна «стремятся избежать попадания в ловушку теоретических конструкций», представлено в сборнике «Модернизируя Московию», выпущенном в 2004 г. (31). Несмотря на заявленное название, книга отнюдь не является еще одним вариантом теории модернизации в применении к истории России раннего Нового времени. Признавая невозможность избежать тех же вопросов, которыми занимается упомянутая теория, авторы достаточно оригинально выходят за пределы предписанных ею рамок.

Как указывают во введении редакторы сборника Дж. Котилейн и М. По, модернизацию можно рассматривать в абсолютных и относительных терминах. Абсолютная модернизация – это введение новых, более эффективных институтов. Относительная модернизация предполагает соперничество с другими государствами, признание их лидирующего положения в тех или иных областях и соответствующие заимствования, которые позволили бы сократить разрыв между «лидером» и «последователем». При этом заимствования вовсе не обязательно должны быть ориентированы на эффективность (например, в искусстве) (31, с. 4).

Многовековое соревнование России с Западом началось уже в XVI в., когда страна была втянута в международные конфликты в Европе. Выходу ее из изоляции способствовали как военные и геополитические факторы (в частности, падение Ливонского ордена), так и экономические. В условиях европейской промышленной революции особую ценность приобрели те природные ресурсы, которыми была богата Россия, в первую очередь лес и продукты его переработки. Кроме того, центр экономических интересов Европы переместился из Средиземноморья на север, в районы Балтики и Северного моря. Таким образом, Россия теряла свое периферийное положение и была вынуждена проводить серьезные реформы, которые позволили бы ей выстоять перед лицом более сильных и активных соперников.

Многие предпринятые в России XVII в. реформы хотя и являлись реакцией на серьезные кризисы, по своему характеру не

соответствовали принятым в теории модернизации канонам и не вели к предсказываемым ею последствиям. Напротив, некоторые реформы этого периода внесли свой вклад в формирование российской уникальности и «отсталости». Такие ключевые институты, как абсолютизм и крепостное право, были крайне полезны для страны в существующих исторических обстоятельствах и способствовали ее выживанию в условиях начавшегося соперничества с Западом, однако в отдаленном будущем они подорвали ее потенциальные возможности развития.

Тем не менее, редакторы сборника считают возможным говорить именно о модернизации Московии, поскольку приведенные примеры инноваций были «ориентированными на эффективность реформами» (т.е. речь идет об абсолютной модернизации). Тот факт, что их краткосрочные выгоды не перевесили последующих издержек, свидетельствует скорее о более фундаментальных проблемах исторической эволюции России: это не расположенная к риску культура и традиционалистский склад ума, которые не сумели до сегодняшнего дня полностью преодолеть ни один реформатор. Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что реформы с ограниченными целями, направленные на решение конкретных сиюминутных задач («ad hoc»), иногда бывают единственно возможным способом политического действия (31, с. 4–5).

Бытовавшее долгие годы в науке определение общества Нового времени, которое стояло в центре теорий модернизации, предполагало формирование национального государства, установление парламентской демократии и развитие промышленного капитализма с сопутствующими процессами урбанизации и распространения образования, как это происходило в Западной Европе. Таким образом, демократия западного типа представляла одновременно эталоном и целью исторической эволюции для всех стран. Общеизвестно, что от таких сравнений история России только проигрывала. Повышенное внимание к дискурсу, в том числе политическому, заставило историков обратиться к еще одной характеристике общества Нового времени – идеям европейского Просвещения, которые, как известно, составляли важнейшую часть русской культуры XVIII–XX вв. Рациональное мышление, вера в науку и прогресс параллельно с пренебрежением к религии и традиционализму – черты, характерные для реформаторских проектов

в России XX в., в особенности в советское время. В результате историки расширили определение модерности, сделав акцент на интервенционистской политике государства с целью перестроить общество на началах науки и рациональности. Такой угол зрения, во-первых, позволяет на равных включить Россию в число модернизирующихся государств и рассматривать ее в европейском контексте. А во-вторых, принятый подход ставит государство в центр современных исторических исследований.

Главной целью модернизации (или, как склонны говорить сегодня историки, построения модерности) признается «интеграция» государства, населения и общества, основанная на рациональных, «современных» (modern) представлениях. При этом выдвигается тезис о том, что парламентская демократия является лишь одним из способов построения современного общества. Таким образом, цель и одновременно эталон исторической эволюции – демократия западного типа – изымается из теории модернизации. Исчезает гонка за лидером, исчезают и отстающие. Проблемы, которыми занимается новая политическая история России в связи с изучением построения современного общества, носят более широкий и универсальный характер: это трансформация подданных самодержавия в граждан государства, формирование массовой политики (политического участия масс), создание так называемого «социального государства» и т.д.

Более широкий взгляд на проблему формирования общества современного типа, наиболее артикулировано выраженный в сборнике «Русская модерность» (36), позволяет пересмотреть устоявшиеся интерпретации истории России в рамках бинарных оппозиций «Запад/Восток», «дореволюционный/советский», «государство/общество». Кроме того, как считает один из редакторов сборника Янни Коцонис, самому феномену модерности была присуща парадоксальность. Так, в Европе в целях интеграции и обеспечения внутреннего единства государства «использовались деспотические по своей сути и партикуляристские критерии» для определения границ политической нации (вспомним основанные на биологических критериях определения гражданства, особенно ярко проявившиеся в Германии), пишет он (27, с. 2). И тот факт, что Россия также являла собой «пример парадоксальности», лишь

заставляет считать ее типичным представителем модернизирующейся нации.

Проблема национализма при таком широком понимании современного общества также предстает под несколько иным углом. Создание национального государства – это только один из инструментов формирования современного общества, считают молодые американские историки. В условиях империи, сначала Российской, а затем Советской, стремление к интеграции реализовывалось несколькими иными средствами. Главным инструментом здесь являлись множественные идентичности, формирование которых становилось целью (или результатом) того или иного политического курса.

В рамках предложенной понятийной структуры особое значение приобретает период конца XIX – первой трети XX в., когда все перечисленные феномены получили широкое распространение в Западной Европе, причем были ускорены «великой войной» 1914 г. с ее потребностями в массовой мобилизации населения. Именно под влиянием военных условий, считают авторы сборника, сложилась практика государственного интервенционизма, которая стала в межвоенный период определяющей мировой тенденцией. При таком подходе Советский Союз с его сверхмощным государством естественным образом оказывается в семье европейских наций.

Особую проблему составляет сущность социализма в рамках модерности. Западная историческая наука времен «холодной войны» старалась подчеркивать различия между либеральной демократией и советским социализмом, фокусируясь на марксистской идеологии, коммунистической партии и ее лидерах, авторитарных политических традициях, плановой экономике, политическом терроре, и часто проводила параллели с нацистской Германией. (Таковы были главные установки тоталитарной школы). Сегодня представляется интересным и продуктивным проследить универсальные тенденции в советской истории, связанные с наступлением модерности. Целый ряд аспектов советского социализма находит свои параллели в истории Европы XIX–XX вв. Это рост бюрократии и государственного контроля, меры, направленные на мобилизацию и управление населением, сциентизм и попытки рационально классифицировать общество, а также выход на первый

план массовой политики. При изучении этих явлений в сравнительном контексте можно увидеть, что у СССР и современных политических систем Европы имелось много общих черт, хотя, конечно, в чем-то советский социализм и был уникальным (19, с. 245).

Однако в трактовках сущности советского государства мнения историков расходятся. Наряду с уже описанной концепцией, подчеркивающей синхронный характер развития модерности в СССР и Европе в межвоенный период, существуют и другие точки зрения. Так, некоторые трактуют Советский Союз как альтернативный тип цивилизации Нового времени и делают акцент на его отличиях от Западной Европы. Есть и иная точка зрения, аргументированная в работах молодого американского историка Терри Мартина, занимающегося изучением советской национальной политики. Он является сторонником концепции неотрадиционализма, для которой центральными являются черты «архаизации», присущие эпохе сталинизма и составлявшие немаловажную (а то и сущностную) характеристику режима. Это «придворная» политика в Кремле, «приписной» характер социального статуса, широкое распространение патроната и клиентелы, неформальных связей, «писем во власть» и др. явления. Неотрадиционалисты не уделяют внимания историческому контексту и генетическим корням этих социальных и политических феноменов, считая, что коренной причиной их является «крайний советский этатизм» (41, с. 11). Характеризуя взаимоотношения воззрений неотрадиционализма с теорией модернизации, Т. Мартин указывает: «Модернизация – это теория о советских намерениях; а неотрадиционализм – это теория их непреднамеренных последствий» (30, с. 361).

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Уже довольно давно западные, в первую очередь, американские историки замечали, что проблема преемственности и изменений «надоела» и «навязла в зубах». Однако в эпоху постмодерна она обрела новую актуальность в связи с утверждением мировоззрения, отрицающего применение бинарных оппозиций в истори-

ческих исследованиях и традиционный акцент на радикальных «разрывах» в истории.

Как известно, фундаментальнейшим разрывом в российской истории всегда считалось царствование Петра I. Историки сосредоточивали свое внимание на тех колоссальных изменениях, которые произошли в стране благодаря петровским реформам, обозначившим разрыв с «традиционным» прошлым и начало процесса «европеизации» или «вестернизации» России. Эти реформы в эпоху расцвета теории модернизации интерпретировались как инициированная «сверху» попытка «догнать» соседние европейские страны с тем, чтобы сделать Россию «современным» государством. Однако к настоящему времени даже те, кто продолжает придерживаться этой теории, сходятся во мнении, что как аналитический инструмент модернизационная модель имеет ограниченное применение для изучения истории России. Исследования последних лет продемонстрировали черты преемственности в историческом процессе допетровской и послепетровской эпох и показали, что радикальные реформы Петра имели достаточно ограниченное воздействие на общество. Они стремятся избежать «биполярного» взгляда на историю России раннего Нового времени, подчеркивающего различия между «традиционным» и «современным» и тот культурный «разрыв», который якобы произошел в стране в связи с петровскими реформами (49, с. 323, 325).

В уже упоминавшемся сборнике «Модернизируя Московию» представлен всесторонний анализ поворотных изменений в политической, экономической и культурной жизни России в XVII в., который имеет своей целью «внести свой вклад в фундаментальный пересмотр истории России», как заявляют его авторы. Главная мишень их критики – прочно укоренившийся как в русском общественном сознании, так и в среде профессиональных историков стереотип, согласно которому Петр I считается «отцом» новой, европейской России. В результате господства этого стереотипа сложилась крайне упрощенная картина исторического развития России и перехода ее от эпохи Средневековья к статусу великой державы современного типа. Ни в коей мере не умаляя исторических заслуг Петра, авторы стремятся показать преемственность между программами реформ Петра I и его предшественников. В ряде статей демонстрируется, что уже ко времени вступления Пет-

ра I на престол в России существовала «культура реформы и инновации, выросшая из осознания слабости страны перед лицом западных соседей в условиях все возрастающих контактов с Европой» (31, с. 3). Подчеркивается, что Петр строил на уже имеющемся фундаменте и лишь интенсифицировал реформаторский процесс в нескольких областях, т.е. отнюдь не создал «прекрасную новую Россию» из ничего.

В целом представленная в сборнике картина, в совокупности с другими исследованиями, опубликованными за последние 30 лет, позволяет Полу Бушковичу в своем заключительном очерке говорить о пересмотре устоявшихся представлений, согласно которым XVII в. служил лишь необходимым контрастом царствованию Петра I (11). В течение столетия, пишет он, формировались тенденции изменений в области экономики, политики, религии и культуры, которые можно рассматривать как преддверие реформ Петра. Автор концентрируется на проблеме преемственности и разрывов между XVII в. и царствованием Петра I. Во-первых, он отвергает трактовку XVII в. как века неизменного традиционализма, в особенности это касается культуры придворной и церковной элиты, которая в период 1670–1710-х годов носила все черты культуры барокко «с определенной польско-латинской направленностью». Лишь молодое поколение, которое вышло на сцену в 1720-е годы, стало тяготеть к западноевропейским образцам. Таким образом, в этом отношении, считает П. Бушкович, можно говорить о явной культурной преемственности, несмотря на наличие таких радикальных инноваций, как запрет на ношение бороды и русского платья. Добавим, что если все же и трактовать изменения в сфере культуры как «разрыв», то в данном случае он занял как минимум полстолетия.

Тем не менее, в одном отношении в культуре петровской эпохи наблюдается радикальный разрыв со Средневековьем. Речь идет о секуляризации русской культуры, которая явилась «побочным продуктом» других культурных инноваций, в частности, западного образования и импортирования западной культуры (11, с. 471).

В области экономики преемственность гораздо значительнее, чем это было принято считать. Развенчивая господствовавший в советской историографии стереотип о петровской «индустриали-

зации», автор утверждает, что только в области международной торговли Петр проводил действительно «экономическую» политику. И в этом отношении его реформы представляли собой продолжение, пусть более энергичное, политики Ордин-Нащокина и других деятелей XVII в. Сказанное относится и к поощрению промышленности, связанной с военными нуждами (11, с. 472).

При внимательном рассмотрении церковных, административных, налоговых и военных реформ и здесь обнаруживаются черты преемственности, особенно когда дело касается методов проведения этих реформ в жизнь, поскольку государство сохраняло свой прежний характер. В наиболее общем виде аргументацию автора можно свести к следующему. Петровские преобразования продолжали линию, намеченную его предшественниками в XVII в., однако более энергичными методами. Тем не менее, П. Бушкович признает значение деятельности Петра I, считая, что только благодаря его личным качествам в стране в итоге произошли настолько кардинальные изменения (11, с. 475).

Несколько иначе к теории модернизации и проблеме преемственности и разрывов в петровскую эпоху подошел американский историк Дэниел Кларк Во (49). Чтобы более полно понять историю России в эпоху Петра Великого и оценить деяния царя-реформатора, автор предлагает учитывать пределы понятия «модерности». В качестве точки отсчета в своем исследовании он использует основной тезис книги Бруно Латура «Мы никогда не были людьми Нового времени»⁷: «модерность» является всего лишь концепцией, изобретением человеческой мысли и никогда не существовала в актуальной действительности. Отвергая присущую этой концепции дихотомию, Бруно Латур склонен говорить о «не-современных» людях, сохраняющих все многообразие «до-современного» мышления наряду с чертами, присущими сознанию эпохи «модерности». Реальность гораздо сложнее, интереснее и значительно труднее поддается изучению, чем предполагают теоретики модернизации. Дэниел Кларк Во подхватывает основную мысль книги – уйти от биполярных моделей «модернизаторов» и сосредоточить внимание на том, что находится *между* «традици-

⁷ Latour B. We have never been modern / Transl. by Catherine Porter. – Cambridge, 1993.

онным» и «современным». В данном конкретном случае – посмотреть на ту «середину», где «революционные» мысли и деяния Петра и его соратников пересекаются и самым удивительным образом сочетаются с «традиционным» в народной жизни и мышлении (49, с. 332). Для этого необходимо, во-первых, обратить внимание на религиозную составляющую в русской истории и культуре, а во-вторых, привлечь новые источники и по-новому посмотреть на уже изученные (49, с. 330).

В качестве примера такого исследования Д.К.Во предлагает достаточно широко известный рукописный источник, датируемый началом XVIII в., – «Анатолевский сборник», в котором содержится богатейший материал как по истории Русского Севера, так и по петровским реформам. Его автором и составителем являлся дьякон кафедрального собора и бурмистр города Вятки (тогдашнего Хлынова) Семен Попов.

Американский историк впервые обратил внимание на этот сборник в связи с изучением процесса «модернизации» «традиционной» России, поскольку имеющиеся в нем материалы (рукописные копии не сохранившихся первых номеров газеты «Ведомости», декреты о введении нового календаря, о ношении европейской одежды, о создании Сената, военные реляции) свидетельствовали о серьезных переменах в мировоззрении провинциальной элиты конца XVII – начала XVIII в. Однако взглянув на источник под новым углом зрения и попытавшись очертить на его основании круг интересов и духовный мир автора, Д.К. Во обнаружил, что содержание «Анатолевского сборника» не исчерпывается этим. Значительную часть материалов составляют тексты, свидетельствующие о религиозных интересах и предпочтениях автора: известное сказание о Муромском кресте («Повесть о Марфе и Марии»), сведения о местных вятских культах чудотворных икон, о восстановлении и строительстве церквей, комментарии к Евангелию и др. Широко известная «Повесть о стране Вятской», автором которой, по мнению Д.К. Во, являлся сам Семен Попов, много места уделяет «чудесному» в истории края, в том числе чудесам, связанным со знаменитой иконой св. Николая Тихорецкого. На страницах «Повести» город Хлынов изображается как «форпост православной колонизации в языческой стране», «святой» город, находящийся под защитой и покровительством высших сил.

Явственно формирующаяся региональная идентичность выражена здесь посредством религиозных понятий (49, с. 339).

Автор реконструирует круг интересов и особенности мировоззрения Семена Попова: с одной стороны, это образованный чиновник, который являлся частью «модернизирующегося» строя, с другой – истово верующий православный, клирик, «стремившийся использовать местные церковные традиции и местную историю как противовес централизаторским тенденциям церкви и государства» (49, с. 338). Круг общения Семена Попова был достаточно широк. Помимо представителей местного образованного общества, он имел корреспондентов в столицах (по-видимому, поддерживал связь с кем-то из окружения фельдмаршала Бориса Шереметева), которые доставляли ему свежие новости, книги и газеты. Семен Попов, пишет автор статьи, являет собой типичный для петровской эпохи пример «не-современного» человека, получившего определенное образование и так или иначе затронутого проводящимися реформами. Попов – провинциальный аналог таких представителей ближайшего окружения Петра I, как Борис Шереметев и Петр Толстой. При этом прослеживается его культурное родство с Иваном Посошковым, чье мировоззрение во многом отражало мир «Домостроя» XVI в. Это люди православной культуры, которые колебались между старым и новым, принимая новое, но и не отвергая старого (49, с. 342).

Акцентируя внимание на сохранении в культуре Нового времени «традиционных» компонентов, автор подчеркивает, что и «традиционные» (читай – «религиозные»), и новые образы и символы были крайне важной частью культуры как для представителей элиты, так и для их неграмотных современников» (49, с. 343–344).

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА XVIII В.

Монография молодого американского историка Эрнеста Зицера «Преображенное царство: Сакральные пародии и харизматическая власть при дворе Петра Великого» представляет собой пример самого современного постмодернистского подхода к исто-

рии власти и реформ с учетом достижений антропологии и семиотики и опирается на широко известное у нас и за рубежом исследование Ричарда Уортмана (научного руководителя автора) «Сценарии власти». Она во многом корректирует «секуляристский уклон», сложившийся в историографии России раннего Нового времени. В центре внимания автора – военные игрища и религиозные пародии, в первую очередь «Всешутейший и всепьянейший собор», которые ведут свое начало от детских забав юного царя в подмосковном селе Преображенском. В интерпретации автора, Преображенское – это не просто географическая точка, где протекала бурная юность Петра в потехах с товарищами и собутыльниками, это топос – воображаемое царство, игровой мир, со своими законами для участников, с характерной системой символов и особым языком. Отсюда и название книги – «Преображенное царство». Подчеркивая значение религиозной составляющей в дискурсе петровской эпохи, автор указывает, что для многих приближенных Петра трансформация Московии в императорскую Россию являлась «делом веры в не меньшей степени, чем вопросом бюрократической реорганизации» – т.е. речь шла не только о «преобразовании» (реформе), но и о «преображении» (51, с. 7).

Главная мысль книги заключается в том, что в основе придворных шутовских спектаклей лежало не стремление секуляризовать Московию, а вера в божественный дар харизмы, которым, по общему мнению, обладал Петр Алексеевич. Автор утверждает, что придворные спектакли «конституировали одну из первейших дискурсивных практик, посредством которых царь и его советники культивировали веру в избранность Петра для выполнения задачи преобразования Русского царства». Исследуя связь между постановкой сакральных пародий и установлением харизматической власти при дворе Петра Великого, он обращает внимание на тот факт, что в соответствии с понятиями того времени термин «пародия» (лат. *parodia sacra*) не нес в себе сатирического компонента и означал любую имитацию священного текста. Автор указывает, что до конца XVIII в. «даже антиклерикальные пародии необязательно означали отрицание религиозной традиции».

В книге подробно рассматривается, как на протяжении длительного царствования Петра он сам и его приближенные использовали царские потехи для создания «контркультурного игрового

мира». Автор настаивает, что игровым этот мир являлся только по названию, а фактически он проводил границы между теми, кто принадлежал к избранной «компании», верил в харизматический дар Петра и принимал его версию реформаторского проекта, начатого при его отце, и «неверующими». Преподнося себя как элиту, отвергающую принятые нормы, считая себя уполномоченными богом идти против прежних законов, товарищи царя выражали свою веру в могущество монарха, который «мог перевернуть мир вверх дном, чтобы создать радикально новое мироустройство». Э. Зицер отмечает, что петровский сценарий власти не мог быть сформулирован и введен без активного участия единомышленников. Более того, для запуска сложного и хрупкого механизма «регулярного полицейского государства» требовался создатель, наделенный даром благодати/харизмы, и власть такого рода зависела от воли и желания приверженцев монарха разделять его дар благодати (51, с. 6). Зарождение регулярного полицейского государства в России было, таким образом, неразрывно связано с притязаниями личной, не ограниченной законом и богоданной власти; в данном случае выставляющая себя на показ царская харизма позволяла продвигать, а не подрывать идеалы современной бюрократии.

Указывая на существенные лакуны в нашем понимании политической теологии петровской эпохи, Э. Зицер ставит своей целью проанализировать процессы политической легитимации при дворе Петра Великого с особым вниманием к языку этой легитимации, в том числе изобразительному.

Авторский подход к изучению «потешных» институтов и празднеств петровской эпохи радикально отличается от традиционного. Считалось, что знаменитый Всешутейший и всепьянейший собор Петра Великого являлся своеобразным институтом со своей, пародийной, системой рангов и ритуалов. Историки выделяли характерные для петровской эпохи черты институционализации и рационализации, которые со временем все ярче проявлялись в царских забавах. Э. Зицер настаивает, что Всешутейший собор был не институтом, а дискурсом, подчеркивая таким образом коммуникативный характер явления. Он не только отражал способы организации и распределения власти при дворе Петра Великого, но и конституировал политические отношения. Соответственно, утверждает автор, любая попытка изучения этого феномена долж-

на включать в себя исследование языка власти и дискурсивных практик, используемых Петром и его придворными. Анализируя переписку царя с его соратниками, Зицер реконструирует политический дискурс. Принятый в переписке язык «избранного кружка», в характеристике автора, «допускающий двойное толкование», сознает свою игровую театральность и политическую значимость. Для дискурса этой группы характерно широкое использование библейских и литургических цитат и отсылок. Кроме того, переписка демонстрирует глубокое знание вакхических мистерий, которые занимали центральное место в карнавальных церемониях Преображенного царства.

Как показали исследования Европы раннего Нового времени, сравнения христианского короля с Бахусом являлись тогда вполне уместной политической аллегорией. Так, на известном полотне Веласкеса Филипп IV изображен в виде Бахуса, предлагающего бокал вина своим приближенным, которые славят его как «высшее существо». В юности даже капризный Людовик XIV выходил на сцену в виде римского бога виноделия в придворном балете под названием «Празднества Бахуса». Король-Солнце воспроизводил традицию французских королевских панегириков, согласно которой Бахус – «Бог Востока, завоевавший мир» – воплощал тему французской имперской экспансии. В третьей четверти XVII в. римский бог виноделия появляется уже и в святочном представлении перед лицом «тишайшего царя» Алексея Михайловича. От этих первых дискурсивных практик, ассоциировавшихся с барочным прославлением Бахуса, был лишь один шаг до вакхического триумфа, который прошел в петровском дворце зимой 1699 г., указывает автор. Он считает, что военные игры, шутовские религиозные шествия и карнавальные «инверсии политического строя», которые ставились при петровском дворе, вполне укладывались в контекст общеевропейской придворной культуры барокко, характеризующейся метафоричностью, гиперболизацией и театрализованностью, обилием символов и аллегорий.

Однако Петр постепенно реорганизовал типичные забавы монарха XVII в. – придворный театр, военные игры, шутов и карликов – и превратил их в инструменты мобилизации поддержки для своей политики и создания своего «сценария власти». Священные пародии и карнавальные церемонии, как считает автор,

«служили средствами как персонального, так и коллективного наделения властными полномочиями, позволяя царю и его приближенным формулировать, продвигать и осуществлять проекты, о которых они сначала только мечтали». Даже в тяжелые для Петра и его единомышленников моменты они «организовывали зрелища, которые прославляли божественную милость и демонстрировали, что Петр – избранник Бога, который ведет их за собой, и что их дело правое». Петр становился метафорическим «камнем», на котором должно быть построено будущее имперское величие России (51, с. 170).

Такие спектакли помогали усилить ощущение принадлежности к рыцарскому братству истинно верующих в российского помазанника. Кроме того, они подчеркивали необходимость преобразования Русского царства, преподнося «странные» акты монарха как творческие деяния демиурга, вносящего порядок в хаос. Характерно, что члены петровской «компании» принадлежали к низшим рангам шутовской иерархии Преображенного царства. Самые важные роли в представлениях князь-папы играли придворные старшего поколения, которые были вынуждены выполнять оскорбительные и унижительные для них ритуалы. То, что преданные «московской старине» придворные испытывали чувство неловкости, только усиливало полемический заряд ритуалов и способствовало ниспровержению московской системы ценностей, считает автор. Этот «дискомфорт» занимал центральное положение и в широких публичных зрелищах, которые Зицер называет «драмой преобразования Московии».

Сконцентрировавшись на риторической мобилизации и зрелищной драматизации царской харизмы, Зицер прослеживает, как Петр и его окружение трансформировали московский дискурс о святости царской власти в «дерзкое утверждение личной избранности царя и их принадлежности к сообществу правоверных». Это сообщество становится воплощением новой формы социальных отношений, сфокусированной не столько на семейных или клановых связях, сколько на личных заслугах и приверженности богоизбранному военному вождю. Таким образом, военные игрища и религиозные бурлески Петра Великого, так же как и придворные спектакли его европейских современников, нельзя интерпретировать как «фривольные затеи» или же пропаганду Просвещения.

Как пишет автор, это было «то сырье, из которого делалась власть» (51, с. 13).

Попытка царя трансформировать политическую клику, которая привела его на трон, в блестящую элиту, управляющую регулярным полицейским государством, привела к одновременной рационализации и затуханию его личной харизмы. К концу царствования пародии, связанные с введением нового «Евангелия от Петра», утратили свое значение и стали еще одним (хотя все еще важным) элементом нового придворного календаря Петербурга – «институализированным артефактом юности Петра» (51, с. 172).

В XVIII в. вера в личную и харизматическую основу царской власти – вера, неразрывно связанная с образом Петра Великого, – нашла свое выражение в идеале царя-реформатора, окруженного группой преданных учеников и свободного от любых ограничений институтами или законом. Парадоксы проекта Петра (который требовал как институционализации суверенности, так и культивирования харизмы) продолжали формировать сценарии власти его преемников, заключает Э. Зицер.

Несколько в ином ключе к проблеме легитимации царской власти подошла Синтия Уиттакер, которая на основе колоссального количества печатных источников проследила эволюцию концепции политической власти в России на протяжении XVIII столетия (50). Главное содержание этой эволюции – постепенная смена религиозного статуса легитимности власти самодержца светским, когда понятия о монаршем долге постепенно заменяли прежние представления о божественном праве властителя. В центре внимания автора политический дискурс эпохи, который вылился в форму «политического диалога» между монархом и обществом в лице его элиты. В течение всего столетия этот диалог был «не конфронтационным и консенсуальным», поскольку монархия являлась в этот период не только центральным институтом империи, но и считалась единственно приемлемой формой правления. Автор показывает, в чем состояла неизменная притягательность российского абсолютизма, как его могущество и долговечность обеспечивались постоянными доказательствами в пользу монархии, звучащими в официальных и литературных текстах (50, с. 4).

Источники, на которых строится исследование, включают в себя помимо официальных манифестов и законов около 500 пе-

чатных работ, в том числе беллетристику, а также такие визуальные и устные средства коммуникации, как ритуалы, церемонии, дискуссии и проповеди. Изобилие материала подтверждает тот факт, что политические вопросы, идеи и мнения были крайне популярны в России XVIII в.

Показывая, что литераторы XVIII в. считали себя рупорами образованного общества («публики», которая, по замечанию Сумарокова, возникла в России в 1760-е годы), автор делает необходимую ремарку, что в задачи исследования не входит выяснение того, как обстояло дело в актуальной действительности. Она изучает общепринятые представления о монархии. Анализируемые ею тексты носят второстепенный характер, большую часть их нельзя отнести ни к политическим трактатам, ни к великим произведениям литературы. Их авторы не поднимаются над уровнем своего поколения и отображают наиболее распространенные мнения и предрассудки своего времени. Их взгляды нельзя интерпретировать как идеологию – это скорее распространенные трюизмы и азбучные истины, которые обычно звучат в отступлениях и замечаниях по ходу повествования. Эти «дискурсивные конструкции» наилучшим образом отражают дух времени, выражая общие позиции, а не личные теории того или иного автора и свидетельствуют об определенном консенсусе в отношении политических понятий (50, с. 7).

Как отмечает С. Уитакер, одобрение абсолютной монархии в политическом дискурсе XVIII в. не означало защиты неограниченной власти и тем более произвола. Считалось, что монархи редко перерождаются в тиранов, которые игнорируют божеские и человеческие законы и пренебрегают общим благом. Анализируемые тексты демонстрируют твердое убеждение, что демократия и аристократия – единственные признаваемые тогда альтернативы монархии – всегда вырождаются в диктатуру толпы или олигархии и являются разрушительными для государства. Автор показывает, как фигурирующая в исторических трудах XVIII в. история Новгородской республики служила на протяжении всего столетия предупреждением потомкам об опасностях демократии. Кроме того, следует учитывать, что в XVIII в. государства не абсолютистские считались «ненормальными, странными и необъяснимыми». В этом столетии институт монархии достиг пика своего раз-

вития, и абсолютная монархия во всей Европе воспринималась как самая успешная и эффективная форма правления. Так продолжалось до Французской революции. Все сказанное позволяет автору заключить, что Россия в XVIII в. была более близка к Западу, чем во все другие периоды своей истории (50, с. 9–10).

В XVIII в. существовало ясное понимание того, что голос публики представлял собой альтернативную силу и в определенные моменты мог служить предохранительным клапаном, указывает С. Уиттакер. Она отмечает, что российские монархи поняли значение печатной культуры раньше, чем европейские. Уже Петр I принимал активное участие в дискурсе о легитимности монархии. По признанию Вольтера, Петр первым в Европе ввел модель правления, которая связала монархию с присущим Просвещению понятием прогресса, поскольку он обосновывал свою абсолютную власть при помощи программы реформ (50, с. 40). Он снизил значение таких традиционных основ царской легитимности, как божественная избранность, избрание правителя народом, династическая преемственность, и ввел новое ее обоснование – деяния и свершения монарха. Его преемники добавили к этим аргументам нововведения, характерные для своего времени. Поскольку закон о престолонаследии был крайне неопределенным, они подкрепляли свои претензии на трон принципом выборности, при этом по-прежнему обещая реформы. Вторая половина XVIII в. отмечена возникновением притязаний на царствование «в рамках и посредством закона» и все большим подчеркиванием личных добродетелей монарха, что получило особенное распространение в царствование Екатерины.

Как показано в книге, в середине века представление о том, что образованное общество должно принимать активное участие в формировании государства, принесло неожиданные плоды в виде дворцовых переворотов. Монархи, не желающие «играть по правилам» и не способные достичь согласия со своей элитой, безжалостно изгонялись. Характерно, что знать не испытывала угрызений совести по поводу свержения «плохих» царей и одновременно оставалась лояльной концепции абсолютной монархии.

В 1780-е годы в стране наметились важные изменения – «один сегмент российской элиты пошел своей дорогой», отойдя от общего единодушного одобрения монархии. В соответствии с тен-

денциями, распространившимися по всей Европе, признавалась необходимость юридических ограничений абсолютной власти. Однако, как замечает С. Уиттакер, российские цари не желали выйти за пределы политического диалога XVIII в., сделать следующий шаг и институализировать общественное мнение в каком-либо представительном органе. То, что было переходным в Европе, стало «задержкой развития» государства в России.

Публичный диалог между правителем и подданными изменил политическую атмосферу в России XVIII в. Писатели подталкивали правителей проводить реформы, славили династию Романовых, в особенности свойственный ей элемент выборности, который сопровождал вступление на трон большинства монархов, и договорные, контрактные связи с подданными. В текстах звучали призывы к созданию свода законов, которые были бы применимы как к гражданам, так и к правителю. Русские историки прослеживали эти признаки легитимности вглубь веков, к первым Рюриковичам, изменяя конфигурацию русской истории таким образом, чтобы она соответствовала новым критериям. Беллетристы мифологизировали образ «хорошего» царя, чье чувство моральной ответственности и высокая нравственность облагораживают народ, и подвергали суровой критике «плохого» царя, который может погубить себя и государство (50, с. 187).

Каждое последующее поколение писателей вырабатывало свои собственные критерии и новые аргументы в пользу монархии, естественным образом входившие в арсенал общественного сознания. Обе стороны говорили на одном языке – языке Просвещения, и единодушно считали монархию силой, которая объединяет государство и образованное общество. Это и было главной целью диалога. К концу века аргументы в пользу монархии обрели огромную силу, поскольку каждое предыдущее поколение вносило свой вклад в диалог, и их аргументы продолжали сохраняться наряду с новыми взглядами. Так, глубокое почтение к этому институту, основанное на обычае и религии, никогда не исчезало. Таким образом, совокупность концепций о монархии являлась многослойной, и правители могли опираться на многие слои легитимности: как реформаторы; как избранные народом; как правящие в соответствии с законом; как члены династии, которая предназначена вести Россию по европейскому пути; как люди, которые по-

нимают и принимают нормы поведения, предписанные Богом, природой, долгом и моралью. Правила этой логической концепции предполагали также, что те, кто не может им соответствовать, должны быть изгнаны. Единственное новшество, введенное в конце столетия – это исключение из концепций монархии принципа выборности. С этим покончил Павел I посредством нового закона о престолонаследии, заменив столь важный для элиты элемент не менее популярным династическим обоснованием легитимности (50, с. 188).

Считая Россию XVIII в. в политическом отношении типичной европейской державой, автор полагает, что ее уникальность заключалась в сохранении абсолютной монархии до начала XX в., когда в Европе уже процветал парламентаризм. К привычному для историографии набору причин долгого существования абсолютизма в России (рабская покорность подданных, сила традиции, отсутствие посреднических органов, экономическая и социальная отсталость и т.п.) автор добавляет еще одну. Это убедительные доводы в пользу жизнеспособности монархии, разработанные в XVIII в. в ходе диалога между правителями и писателями, которые были впитаны русской политической культурой (50, с. 12). Сложившийся к концу XVIII в. многослойный комплекс аргументов в пользу монархии обеспечивал ее жизнеспособность и в следующем столетии. Монархи продолжали проводить реформы, а писатели, особенно историки, продолжали упрочивать ассоциативную связь между правителями и прогрессом. Только сама монархия оставалась незатронутой реформами XIX в., однако, как указывает автор, «многие терпеливо ждали этого окончательного акта царя-реформатора». А пока институт поддерживался надеждами и ожиданиями, которые были заложены в монархию в ходе диалога XVIII в. (50, с. 188).

Изучение политического диалога в России XVIII в. позволило С. Уиттакер опровергнуть многие застарелые историографические мифы и значительно откорректировать бытующие представления. Во-первых, автор демонстрирует, что Россия была полноправным и активным участником интеллектуального мира Просвещения. Поместив политический диалог в общеевропейский контекст, автор «нормализует» историю России. Во-вторых, корректируется представление о деспотическом и неограниченном

характере самодержавной власти и о раболопной и политически инертной элите. Как показало исследование, в России, как и в других странах, правители должны были вовлекать элиту в диалог, посредством которого сама элита принимала участие в деле управления. Эти выводы лежат в русле современных представлений о русском дворянстве и его активной роли в поддержке монархического государства. Более того, внимание к политическому дискурсу корректирует укоренившееся в последние 100 лет в историографии России представление о самодержавии как исключительно «репрессивном» институте, с которым подданные могли находиться только в состоянии борьбы. Соответственно, изменяется система координат исторического исследования, в центре его уже более не находится борьба «масс» или «общества» с абсолютизмом, что позволяет обратиться к иным, более плодотворным сюжетам и представить более богатую картину социального и политического поведения и причинно-следственных связей.

ОТ ПОДДАННЫХ К ГРАЖДАНАМ

Название статьи известного американского историка Джозефа Брэдли, опубликованной в ведущем журнале Американской ассоциации историков «American historical review» в 2002 г., неслучайно вынесено в заглавие этого раздела. Проблема трансформации подданных самодержавия в граждан государства как отличительный признак формирования общества эпохи Нового времени находится сегодня в фокусе интереса западных историков. Этот феномен является частью процесса постепенной «интернализации» власти, будь то самодержавие, диктатура одной партии или одного человека. Речь идет о внедрении в сознание коллектива и индивида основ и принципов власти, в результате чего власть перестает быть внешней по отношению к индивиду.

Брэдли рассматривает теоретический аспект концепций гражданского общества и публичной сферы, оценивает итоги и перспективы их применения в исторических исследованиях, в том числе при изучении истории царской России, где его наличие оспаривается специалистами. Принято считать, пишет автор, что гражданское общество в Российской империи так и не состоялось,

что оно находилось в зачаточном состоянии, было слабым, примитивным и аморфным. Однако, полагает Брэдли, «несмотря на подозрительное отношение самодержавия к общественной жизни, в конце XVIII–XIX вв. русские все-таки создали публичную сферу, основанную на моделях европейского Просвещения» (8, с. 1096). Данные о деятельности тысяч добровольных общественных организаций противоречат устоявшимся представлениям о самодержавном характере политической культуры России и «несостоявшемся» гражданском обществе.

Исследуя историю нескольких крупнейших общественных организаций в России XVIII–XIX вв., автор предлагает новый взгляд на проблему взаимоотношений общества и государства и обнаруживает общие черты с такими же феноменами в Западной Европе и Америке.

Гражданское общество, по определению Брэдли, – это общественные институты и организации, которые не являются составной частью государства и образуют структуру для «упорядоченной и легальной коллективной деятельности». Автор имеет в виду основанные на началах добровольности современные (модерные) светские общества (филантропические, образовательные, культурные, научные), которые «предлагали новые формы социального общения и самоопределения» (8, с. 1094).

В 1970–80-е годы, пишет Брэдли, концепции гражданского общества и публичной сферы получили широкое распространение как в практической политике, где они помогли объяснять и прогнозировать эволюцию государств в направлении либеральной демократии, так и в науке. Европейским и американским историкам эти концепции служили аналитическими категориями при изучении формирования индивидуальной и групповой идентичности, взаимоотношений между государством и индивидом, истории реформаторских движений, политической культуры и др.

Исследование феномена добровольных общественных организаций высвечивает взаимоотношения между гражданским обществом и государством в авторитарных режимах. Автор выделяет два направления в изучении этих отношений. Первое, которое находится под влиянием работ Юргена Хабермаса, считает их отношениями соперничества. Хабермас доказывал, что общественная сфера возникает при абсолютизме, в условиях рыночного капита-

лизма, когда происходит формирование буржуазии, новых форм городской социальности и книжной культуры. Зачатки гражданского общества он обнаруживал в деятельности добровольных объединений, где происходил переход от пассивности подданных к активности гражданина, от абсолютизма и олигархии к представительным формам правления. «Институциональное ядро» гражданского общества составляется добровольными союзами, находящимися вне государства и экономики, оно действует как противовес власти, основанной на традиции, силе и ритуале, и дает возможность гражданам управлять самостоятельно (8, с. 1097). Сторонники этого направления показали в своих исторических исследованиях, что в Германии и Австрии в условиях патерналистского авторитарного государства, не признававшего прав общества на автономию и самостоятельность, безобидная на первый взгляд деятельность общественных организаций приобрела к 1840-м годам откровенно политический характер.

Второе, новое направление выдвигает тезис о двойственности отношений между гражданским обществом и государством и ставит под вопрос «атакующую позицию общества по отношению к абсолютизму». Как показали новейшие исследования, на европейском континенте монархи поощряли, а часто и целенаправленно создавали гражданское общество для того, чтобы опекать и покровительствовать научной, благотворительной и культурной деятельности, которая способствует национальному прогрессу и демонстрирует «просвещенность» правителей. В таких несхожих странах, как Франция и Китай, гражданское общество трактовалось в первую очередь как детище государства. Согласно этой точке зрения, даже «записные либералы» не желали конфликта с государством и стремились не столько к самостоятельности, сколько к сотрудничеству. Нормой считалась гармония, а не соперничество между гражданским обществом и государством. Однако, хотя общественные объединения и сотрудничали с государством по многим вопросам, все же благодаря их деятельности границы влияния правительства отодвигались, а компетенция гражданского общества в решении своих проблем расширялась (8, с. 1099).

Долгое время историки и специалисты в области социальной теории полагали, что существует прямая связь между гражданским

обществом и средним классом. Считалось, что предпосылками возникновения гражданского общества являются рыночный капитализм и буржуазия. Однако в современных работах была поставлена под вопрос «роль среднего класса как главного действующего лица в драме становления гражданского общества». В европейской историографии описывается раздробленная, «бестолковая и разобщенная» буржуазия, которую невозможно определить с экономической точки зрения (8, с. 1100).

Автор склонен утверждать, что гражданское общество и добровольные общественные организации следует отделить от их «социологической базы», т.е. от буржуазии. Система ценностей гражданского общества, обычно приписываемая буржуазии, выражалась в добровольных ассоциациях устами либеральных землевладельцев, профессионалов и правительственных чиновников.

Еще один важный аспект изучения гражданского общества в современной историографии – это проблемы развития и становления науки, в первую очередь естествознания. История возникновения в XVIII в. научных обществ обнажает очень сложные взаимоотношения между культурными институтами, государством и индивидом, особенно при авторитарном режиме. Представление об автономной, свободной науке, которая стоит над интересами, страстями и политикой и служит всему человечеству, побудило историков говорить о науке эпохи Просвещения как о наиболее мощном орудии интеллектуалов, обладающем «эмансипаторным потенциалом» (8, с. 1101). И хотя число людей, занимавшихся наукой, было относительно небольшим, ученые общества «предоставляли форум для прогрессивного и реформистского дискурса и для соответствующей деятельности» (8, с. 1102). Во второй половине XIX в. европейские ученые общества возглавляли работу по исследованию многочисленных общественных пороков и изъязнов и активно участвовали в реформистских движениях.

Термин «гражданское общество» так и не утвердился в историографии России, пишет Брэдли. Канонизированные в западной политической мысли институциональные гаранты гражданского общества – неприкосновенность личности и жилища, права собственности и священность контракта, правовое государство, парламентская или иная представительная власть сословий – не входили в число характеристик царского режима. То же самое

можно сказать об экономических и социальных гарантиях гражданского общества – торговых городах и сильном среднем классе. Россию обычно рассматривают как «не-западную» и полуазиатскую страну, хотя истоки ее исторической особенности по-прежнему остаются дискуссионными.

В историографии, посвященной государственным институтам царской России, сложилось представление о двух главных составляющих политической культуры России: это атрофия общества в сочетании с гипертрофией государства. Считалось, что самодержавие в стремлении усилить свою власть не оставило места для неправительственной общественной деятельности.

Социальные историки переключили внимание с изучения государства и чиновничества на «социальные силы». Но в конце концов и они «присоединились к общему хору в своих поисках либо раздробленного общества, неспособного организовать противостояния царскому Левиафану, либо классовой борьбы, которая обеспечила «социальную базу» для революции в ее самой крайней форме», – пишет автор (8, с. 1103). Историки признают, что к концу правления Екатерины II в России был готов проект гражданского общества; к концу правления Александра I его рост уже был необратим. Однако чаще утверждается, что сколько-нибудь развитое гражданское общество, способное бросить вызов монополии режима на политическую власть, возникло лишь к началу XX в., и сущность его видят в оппозиции царизму (8, с. 1104).

Тем не менее, в историографии уже появились признаки поворота от изучения «упадка» царской России к более позитивной проблематике. Историки стремятся понять и объяснить, что же обеспечивало столь долгое процветание России. Если мы сосредоточиваем внимание на самодержавии, мы подчеркиваем различия России и Запада и акцентируем неизбежность революции, пишет Брэдли. Вступая на малоизученную территорию возникновения гражданского общества, мы обнаруживаем совсем иную картину (8, с. 1106).

Из всех элементов, которые составляли гражданское общество в России и способствовали его развитию – книжная культура и пресса, университеты, городские думы и земства, судебные учреждения, экономический рост, урбанизация, профессионализация, либеральное движение – самыми неизученными являются

добровольные общественные организации. В конце XIX в. существовало несколько тысяч добровольных обществ в Петербурге и Москве, столицах нерусских регионов империи, крупных губернских городах и даже в маленьких городках. Это были научные, благотворительные и сельскохозяйственные общества, клубы для отдыха и занятий спортом. Из всего разнообразия добровольных общественных организаций автор выбрал несколько наиболее крупных, базировавшихся в Москве и Санкт-Петербурге. Это Вольное экономическое общество (ВЭО), Императорское Русское географическое общество (ИРГО), Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), Русское техническое общество (РТО). Все эти организации существовали в течение очень долгого времени, их отношения с правительством были определены формально-юридически, они занимали видное положение в обществе, и каждое из них имело свою четко сформулированную общественную миссию.

Автор сосредоточивается на рассмотрении трех направлений общественной жизни: изучение природных и человеческих ресурсов, сохранение культурного наследия и участие в социальных и реформаторских движениях. Все эти направления, имея соответствующие аналогии в Европе и Северной Америке, представляются парадигмальными для изучения общественной жизни эпохи.

Одна из наиболее важных целей эпохи Просвещения – прогресс человечества, который достигается при помощи науки, пишет автор. Так, путем внедрения достижений науки в сельское хозяйство можно было улучшать природу. Первые сельскохозяйственные общества были основаны монархами и частными лицами в Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии уже во второй четверти XVIII в. Эти общества объявляли конкурсы на лучшие статьи, присуждали медали и призы изобретателям, организовывали экспедиции, издавали журналы и научные труды, основывали обсерватории и ботанические сады, предпринимали статистические исследования и проводили картографирование территорий. Россия не являлась исключением.

В 1765 г. было основано Вольное экономическое общество, независимое от правительства, но при этом пользовавшееся моральной и материальной поддержкой императрицы. За свою 150-летнюю историю общество, действовавшее на добровольной

основе и началах самоуправления, пользовалось значительной свободой и привилегиями, в том числе в деле распространения как иностранных, так и отечественных научных и практических материалов, в своих взаимоотношениях с другими организациями. И хотя деятельность ВЭО, по общему признанию историков, не привела к «трансформации земледелия» в России, значение и смысл этой деятельности лежат, по мнению автора, в другой плоскости. Была создана модель двусторонних отношений государства и общественной организации, которой следовали многочисленные объединения, возникшие в XIX в. ВЭО стало первым «форумом» для обсуждения и выработки экономической политики государства, оно «положило начало процессу санкционирования самодержавием независимой общественной инициативы» (8, с. 1110).

Увлечение прошлым своей страны, имевшее ярко выраженную патриотическую направленность, получило широкое распространение в Европе XVIII–XIX вв. Монархи и их подданные собирали и коллекционировали древности, основывали музеи и общества, которые занимались изучением обычаев и материальной культуры. Изучение своего народа становилось своего рода «общественной службой», которая способствовала возникновению чувства национальной гордости и формировала национальную идентичность. Научный и общественный интерес к русскому народу и другим национальностям и племенам, населяющим империю, получил свое воплощение в создании Императорского Русского географического общества в 1845 г. Его устав, составленный по образцу устава Королевского географического общества в Лондоне, предполагал значительную автономию.

Как и другие географические общества в Европе той эпохи, ИРГО развивало научные исследования, которые способствовали расширению империи и национальной интеграции. Была создана основа для статистического изучения империи, ее географии и народного хозяйства, этнографии и духовной культуры. Автор отмечает патриотический настрой, характерный для всех членов общества, начиная с императорской фамилии и кончая самым скромным краеведом в уездном городке. ИРГО объединило ученых и прогрессивно настроенных чиновников для изучения социальных и экономических вопросов. Общеизвестно, что практиче-

ски все видные деятели великих реформ 1860-х годов являлись членами Географического общества (8, с. 1111–1112).

В эпоху великих реформ было создано огромное количество общественных организаций, ставящих своей целью демократизацию науки и образования. В Московском университете группой специалистов, любителей и студентов было основано Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Среди наиболее выдающихся достижений ОЛЕАЭ – организация Политехнической выставки 1872 г., Этнографической выставки 1876 г. и создание Политехнического музея в Москве. Музей представлял собой пример сотрудничества общественных организаций, органов городского управления, научного сообщества и «публики» (8, с. 1114–1115).

Самым известным и влиятельным среди общественных организаций, занимавшихся техническим образованием, было РТО, основанное в Санкт-Петербурге в 1866 г. Хотя преобладала в нем техническая интеллигенция, среди его членов были правительственные чиновники, военные и промышленники. Главные цели общества – способствовать развитию русских технологий, распространять практическую информацию, продвигать инженерное образование. Общество основывало курсы для рабочих и школы для их детей, финансировало публичные лекции, организовывало благотворительные концерты и лекции. Автор указывает, что публичные лекции, которые стали в 1890-е годы «эпидемией», представляли собой один из существенных элементов гражданского общества в царской России (8, с. 1117).

Еще одной важной составляющей гражданского общества являлись съезды и конгрессы. С 1867 г. университеты стали организовывать научные съезды, которые служили объединению ученых разных уголков империи и поднимали русскую науку на европейский уровень. С 1889 г. свои съезды организует РТО. С этого времени съезды самых разных обществ стали важным элементом общественной жизни России.

Однако активная деятельность общественных организаций «по информированию и мобилизации публики», пишет Брэдли, вызвала тревогу царского правительства. К концу XIX в. отношения между правительством и все возрастающим количеством общественных объединений сильно политизировались и стали

конфронтационными. Так, в 1890-х годах ВЭО было вынуждено свернуть свою деятельность. Правительство сочло, что общество вышло за рамки своего устава и, как указывалось в полицейском докладе, «превратилось в парламент» (8, с. 1119).

Бесспорно, подводит итог автор, что «институциональное ядро» гражданского общества в царской России – сеть общественных организаций в столицах и крупных городах – быстро росло. Конечно, по сравнению с Западной Европой и Северной Америкой, в обширной и гораздо менее урбанизированной империи эта сеть была менее плотной, а число членов общественных организаций на душу населения значительно меньше. Тем не менее, хотя ученые часто подчеркивают различия между Россией и «Западом», изучение истории добровольных обществ показывает множество сходных черт. Общественные организации в России ставили перед собой те же цели, их уставы содержали ряд санкционированных государством привилегий и льгот. В условиях самодержавия общества являлись в общем и целом самостоятельными и самоуправляющимися организациями. В добровольных общественных организациях вырабатывалась система ценностей, нехарактерная, как принято считать, для традиционной России: личная инициатива, дух предприимчивости, трудолюбие, самостоятельность, ответственность за свою судьбу, самосовершенствование, вера в науку и прогресс.

Характерно, что создателем общественных организаций явилось русское чиновничество, и их история – это история более чем векового сотрудничества бюрократии и общественности. Так же, как и в Европе, государственные субсидии, покровительство императорской фамилии, участие правительственных чиновников в работе советов общественных организаций способствовали взаимопроникновению официальной и неофициальной сфер. Многие общественные организации усердно культивировали этос честной службы на пользу нации, считая, что их цели в достижении прогресса совпадают с целями государства (8, с. 1121).

Общественные организации в империи, построенной на основе вертикальных связей, формировали связи горизонтальные. Они воспитывали у людей чувство гражданской гордости и понимание общественного долга. Благодаря участию в работе добровольных обществ предприниматели, правительственные чиновни-

ки и профессионалы обретали опыт гражданской деятельности и превращались из подданных в граждан. Однако в начале XX в. гражданское общество сильно политизировалось. Как пишет Брэд-ли, оно «было бандитски захвачено революционерами для своих разрушительных целей» (8, с. 1122).

Представленный в статье американского историка подход к изучению гражданского общества призван «деполитизировать» концепцию, которая в конце 1980-х годов приобрела на Западе нормативный характер. Именно тогда в общественных науках и в общественном сознании сложился некий «канон» гражданского общества – полностью независимой от государства гражданской сферы, которую должны создать у себя все посткоммунистические страны для того, чтобы построить демократию западного типа. Традиционное противопоставление государства и общества, как уже говорилось, представляется сегодня малопродуктивным. Более того, многочисленные исследования по истории общественных организаций в СССР позволяют также предположить, что определенный тип «гражданского участия» может быть не только «становым хребтом» демократии, основанной на ценностях среднего класса, но и характерной чертой тоталитарной диктатуры. Этот вопрос может быть прояснен последующими исследованиями с новым подходом, который отвергает бинарную оппозицию «власть/общество» и рассматривает историю страны в более широком плане – как процесс формирования государства современного типа, с обостренным интересом к формированию гражданского общества как одной из важнейших его составляющих.

Примером такого подхода являются работы Янни Коцониса (26, 28), в которых он рассматривает проблему трансформации подданных в граждан на примере реформ налогообложения, проводившихся в России в 1860–1920-х годах. Автор исходит из того, что введение подоходного налога по сути своей является одним из инструментов создания гражданства в современном (модерном) смысле этого слова и анализирует комплекс налоговых реформ и сопровождавших их дебатов, которые завершились принятием в 1916 г. закона об индивидуальном налогообложении.

На первый взгляд, пишет Я. Коцонис, концепцию гражданства трудно применить к самодержавной России, в которой права индивида были не определены, а обязанности в условиях существ-

ования сословной системы возлагались на тот или иной коллектив. Однако в Европе XIX в. понятие о гражданстве включало в себя множество концепций, и гражданство в тот период предполагало ответственность, но вовсе не обязательно права. В российском контексте была усвоена модель, которая опиралась не на априорное признание политических и гражданских прав, а на сознание принадлежности человека к единому универсалистскому целому. Модернизация прямого налогообложения в период 1861–1917 гг. отражала именно это измерение имперского режима. В серии реформ, кульминацией которых явилось введение в 1916 г. подоходного налога, правительство в качестве объекта налогообложения определило лицо, а не коллектив и выработало систему, которая позволяла государству входить в непосредственный контакт с гражданином. Эта система включала в себя многие черты, обычно приписываемые современному налогу: индивидуальные налоговые декларации и самообложение, отчеты казне работодателей и финансовых учреждений, точные данные о расходах плательщика, система избираемых комиссий, которая требовала от налогоплательщиков участия в исчислении налога их сограждан. Новая практика оставляла за бортом сословия и предполагала, что объектом управления должен быть индивид. Это вело к перестройке социальных идентичностей в империи и в конечном счете – к постепенной модификации характера государственного устройства. Таким образом, реформа налогообложения, игнорируя, казалось бы, проблему формального гражданства, привлекала массы к участию в отпращивании государственных функций на самом низшем уровне на индивидуальной основе и означала по своей сути «прививку» нового гражданского этоса, подразумевавшего политическое участие и гражданственность (26, с. 221–223).

История налогообложения в России 1860–1920-х годов отражает процесс формирования современного государства западного типа, который автор трактует как «долгий путь от гоббсовского постулата, что люди платят «возмездие» власти в соответствии с богатством, полученным под его защитой, до гегелевской формулировки – все люди платят налоги, потому что являются членами государства» (28, с. 532). Формулировки Гоббса и Гегеля иллюстрируют два типа понимания государства как, соответственно, ограниченного и всеобъемлющего. Первый подход, подчеркиваю-

ций автономии государства от общества, широко представлен в историографии России, где «сильное» государство в одностороннем порядке воздействовало на население. Не отрицая потенциала этого подхода, Коцонис учитывает и второй подход и приходит к выводу о дуалистической природе современного государства, которое являлось, с одной стороны, инструментом интеграции, а с другой – инструментом господства. В России этот дуализм выражался, в частности, в том, что реформаторы рассматривали государство одновременно как деятеля и как пространство, где действуют люди («как инструмент трансформации и как локус интеграции») (28, с. 536).

Процесс превращения в современное государство предполагает взаимопроникновение и обоюдную «иннервацию» государства и общества, соответственное изменение в институтах и политических практиках и трансформацию категории личности, которая начинает восприниматься как член государства и идентифицируется с ним. Как замечает Я. Коцонис, вступает в силу тезис Фуко о том, что человек не противостоит власти, а «есть одно из ее следствий» и самореализуется в рамках официальных категорий. (28, с. 534).

Процесс идентификации личности с государством в России носил парадоксальный характер. Автор показывает постепенный характер реформирования налогообложения и сосредоточивается на эволюции понимания чиновниками своих задач. Либеральные реформаторы 1860-х годов стремились к введению принципа всеобщности и привлечению населения к участию в деятельности государства. Отмененную в 1863 г. подушную подать заменили налоги на сельскую и городскую собственность, на предпринимательство и квартирный налог 1893 г. Значение этих законов, при всей их неполноте, состояло в том, что они использовали универсалистские критерии собственности, дохода, места проживания, игнорируя сословия. Почти неуловимо термин «плательщик» в законодательстве заменил термины «крестьянин», «мещанин» и «купец», а в случае с квартирным налогом появилось новое слово «лицо» (28, с. 537).

Все большее внимание к «лицу» выражалось в постепенном переходе с раскладных на окладные сборы. В 1860-х годах в Российской империи, как и в Европе, общее количество средств по

налогам определялось исходя из государственных нужд и пропорционально раскладывалось на губернии, с очень приблизительным учетом их экономических условий. В губерниях налоговое бремя делилось между сельскими и городскими территориальными единицами на основе круговой поруки. На всех уровнях – и на уровне губернии, и на уровне одной сельской общины – принцип распределения налога был один: общие нужды государства, а не платежеспособность. С 1880-х годов правительство при исчислении предпринимательского и квартирного налога, на основе которого определялся доход казны, начало подсчитывать доход плательщика. В 1903 г. была отменена круговая порука, а к 1905 г. правительство приступило к рассмотрению предложений по введению подоходного налога как логического продолжения личного и окладного налогообложения. Новый подход к налогообложению предполагал, что финансовые нужды государства не являлись абсолютной величиной, но были функцией от «народного дохода» – новая категория, которую Министерство финансов впервые попыталось измерить в 1906 г. Новая концепция налогообложения подразумевала индивидуальный подход к населению и «прозрачность» доходов лица, а также право и способность государства собирать сведения о его экономической жизни.

В этом отношении Россия шла тем же путем, что и Западная Европа и Америка. «Налоговая революция», пишет автор, прокатилась по Европе в 1890–1910-х годах. Прусские, французские и английские законы предполагали дальнейшее развитие равноправия и объединение населения, разделенного на классы и сословия, на основе национального чувства и гражданского долга. Однако противостояние новой системе налогообложения в Европе было исключительно сильным. Противники ее говорили о различии интересов государства, экономики и общества, отстаивали право каждого на частную жизнь, и их аргументы признавались чрезвычайно серьезными. Именно «прозрачность» стала камнем преткновения и вызвала оппозицию налоговой реформе в США, Великобритании, Франции, Германии. По выражению французских критиков, налог делал гражданина «беззащитным» и «обнаженным» перед «инквизиторским государством».

В России дела обстояли несколько иначе. Государство рассматривалось там как «совокупность народных интересов» – так,

образование и благосостояние народа относились к разряду «государственных нужд». Государство воплощало, а не отражало национальный интерес. Идеи об автономии индивида крайне редко фигурировали в дискуссиях о подоходном налоге в России. Аргументы чиновников о том, что «гражданину нечего скрывать от государства», оказывались, как правило, неоспоримыми (2, с. 547–548).

В 1906 г. Министерство финансов дало указание губернским казенным палатам начать обследование «народного благосостояния во всех его проявлениях», чтобы определить примерное количество лиц, чьи доходы превышают отметку в одну тыс. руб. Крупные работодатели и финансовые учреждения должны были также предоставить сведения о зарплатах и о держателях счетов. Все данные должны были сопоставляться и сверяться для окончательного расчета (28, с. 553). Было предложено также создать на выборных началах присутствия на уровне губерний, уездов и околотков, в которых налогоплательщики бок о бок с податными инспекторами участвовали бы в исчислении налогов. Причем важен был сам факт участия граждан, т.е. общества. Важным моментом было и так называемое «самообложение» – мера, заимствованная из прусской практики. Декларации о доходах предполагали способность индивида к ответственным действиям в пользу государства, членом которого он является. Все это должно было легитимировать государственную исполнительную власть (28, с. 552).

Министерство финансов ставило задачу установить контакт с каждым плательщиком, а не «налоговой единицей». Однако на практике прямые контакты податных инспекторов с населением имели место только в городах. В деревне налогом по-прежнему облагались не «физические лица», а коллективы, несмотря на отмену в 1903 г. круговой поруки и столыпинскую реформу. Для осуществления принятой программы у МФ не было ни людских ресурсов, ни достаточных полномочий. Таким образом, продолжали сохраняться две разные системы налогообложения, которые служили доказательством продолжающейся «сегрегации» крестьянства.

В дебатах о необходимости введения подоходного налога правительство публично выдвигало аргумент о «крайней финансовой нужде», о дефиците в 35 млн. руб., возникшем в результате

войны и революции. Однако конфиденциально чиновники признавали, что предполагаемые доходы от нового налога слишком малы и не могут решить финансовый кризис. Значение подоходного налога лежало скорее в плоскости морали: он призван был сгладить усилившуюся в годы кризиса фрагментацию общества. Для авторов реформы был важен объединяющий потенциал подоходного налога, перед которым все граждане равны и несут обязательства перед государством в зависимости от своего дохода. Публично подоходный налог подавался как гражданский процесс, как «знак причастности», как «честь», а не бремя (2, с. 544).

В апреле 1916 г., в условиях усиленного Первой мировой войной политического и финансового кризиса подоходный налог был принят для большинства населения. Поскольку дефицит бюджета составил к началу 1917 г. уже 1,6 млрд. руб., подоходный налог по-прежнему сохранял исключительно политическое значение (28, с. 557).

Как указывает автор, в период войны все воюющие державы либо ввели подоходный налог, либо значительно расширили сферу его применения как «военный налог на освобожденных от службы», что отражало повышение требований к гражданам в условиях всеобщей мобилизации. Так что в этом отношении Россия не являлась исключением. Особенности российской реформы заключались скорее в тех политических амбициях, которые далеко превосходили возможности государства, в том числе и его способность ежегодно собирать информацию об экономическом состоянии населения.

Непомерные политические амбиции в отношении взимания налогов были характерны и для пришедших к власти большевиков. Автор останавливается на анализе большевистской концепции государства, которая была дуалистична по своей природе: с одной стороны, государство выступало как инструмент классовой борьбы, с другой – как средство интеграции и трансформации широчайших масс населения. Эта двойственность нашла отражение и в налоговой политике первых лет советской власти, демонстрировавшей приверженность к классовой борьбе и одновременно стремление к всеобщему гражданству без исключений. Цели уравнительного налогообложения, национализации и экспроприаций заключались не только в уничтожении тех или иных классов, но

также в их пролетаризации и вливании в единое целое, то есть в создании единого гражданского населения. Для политики большевиков вообще было характерно противопоставление одной части населения другой, в то время как до революции налоговая политика формулировалась с ясной целью всячески избежать социального конфликта в деревне. Коцонис указывает на парадокс «объединения через разделение», что станет характерной чертой в жизни СССР. Здесь уместно было бы вспомнить ленинское «прежде чем объединиться, надо решительно и окончательно размежеваться».

Тем не менее, в исследовании выявляются и несомненные черты преемственности дореволюционной и советской налоговой политики, в особенности в том, что касалось политической риторики, сопровождавшей ту или иную меру. Всеобщий подоходный налог и трудгужналог подавались как «священный долг каждого гражданина», как «наиболее современные меры», содействующие просвещению и стимулирующие сознательность масс, как средство «мобилизации» частных крестьянских хозяйств в экономику страны (28, с. 564).

Как указывает автор, идея о необходимости преодолеть изоляцию крестьянства постоянно присутствовала в официальном дискурсе того времени. При этом намерения большевиков были абсолютно фантастическими: в конце 1918 г., в разгар Гражданской войны, правительство выпустило декрет о прекращении коллективной разверстки и об индивидуальном обложении крестьянства. Были разосланы подробные формы налоговых деклараций, которые так и оставались лежать в уездных финотделах или в крестьянских избах. В результате налоги собирались «с едока» – фактически, это была подушная подать. Я. Коцонис отмечает черты «архаизации», характерные для Советской России 1920-х годов. Серьезным отличием от дореволюционной эпохи была эскалация насилия в области сбора налогов. При этом автор указывает, что большевики не только присвоили «традиционные инструменты государственного насилия в традиционно насильственном государстве», как считал Пайпс. Они также усвоили и расширили концепцию государства, которая сделала возможным неограниченное применение насилия. Большевиков вдохновляла вера в то, что дистанция, отделяющая государство от населения, должна быть преодолена путем нового понимания управления. Государство будет

активно взаимодействовать со своим населением, которое включится в отправление государственных функций. Однако в этом отношении Советская Россия не была чем-то исключительным: она заимствовала методы, разработанные еще дореволюционными чиновниками на основе распространенных во второй половине XIX в. на Западе представлений.

Процесс интеграции населения и государства в 1920-е годы никоим образом не был закончен, указывает автор. Даже в эпоху коллективизации, которую интерпретируют как «последнюю атаку на крестьянский сепаратизм», были введены налоги, облагавшие исключительно сельское население. Здесь проявлялся уже отмечавшийся автором дуализм, присущий не только советскому государству, но и модерности в целом.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И КОРНИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ

Русская революция, ее смысл и значение для последующего хода исторического развития страны и мира – проблема, всегда находившаяся в самом центре научных дискуссий и идеологической борьбы. Политическая история 1960-70-х годов, опиравшаяся в своих исследованиях на воспоминания участников революции и вооруженная яростным антиленинизмом, пишет Р.Суни, сосредотачивалась на изучении личностей и политического маневрирования. В этих работах большевики представляли циничными заговорщиками, одурачившими массы, «настоящей» революцией признавалась Февральская, а Октябрьская считалась классическим государственным переворотом. Утверждения о непопулярности и нелегитимности большевистского режима, развернувшего войну против крестьянства, оказались очень живучими, подтверждением чему явились вышедшие в 1990-е годы работы Р. Пайпса, которые нашли благодарную аудиторию не только на Западе, но и в России, отмечает он (45, с. 4).

Сформировавшаяся в 1970-е годы социальная история попыталась «вернуть» на историческую сцену рабочих, солдат и крестьян. Новая, «ревизионистская» концепция революции поставила во главу угла все усиливавшуюся в условиях войны и разрухи по-

ляризацию между «верхами» и «низами», которая способствовала радикализации общества, препятствуя достижению политического консенсуса. В соответствии с этой концепцией, большевики пришли к власти не потому, что были «циничными манипуляторами», а потому, что их политические установки, сформулированные Лениным в апреле 1917 г. и окончательно оформившиеся под влиянием текущих событий, поставили их в тот момент во главе народного движения. Однако в ходе жесточайшей гражданской войны власть Советов превратилась в новую и непредвиденную форму авторитаризма (45, с. 21).

«Классическая» социальная история, указывает Р. Суни, была склонна рассматривать формирование классов и политических идентичностей в рамках реального экономического и социального мира, который признавался отправной точкой для возникновения восприятий и представлений. Именно поэтому социальный конфликт находился в центре внимания социальных историков. Однако постепенно историки-русисты под влиянием так называемого «лингвистического» или «культурного» поворота стали обращать все больше внимания на язык, культуру, идеи и представления. Социальные историки, пишет Р. Суни, стали учитывать не только «материальные» элементы внешней среды, но и субъективный опыт – дискриминацию, унижение, чувство социальной справедливости (45, с. 5). Появляется все больше исследований массового сознания и пропаганды как важнейшего в революционное время политического инструмента. Новые подходы, основанные на дискурсивном анализе, используют концепты политической культуры, культурной гегемонии и культуры сопротивления. Так, «репрезентации» в социалистической и буржуазной прессе имели огромное значение, поскольку способствовали формированию у рабочих социальной идентичности, одновременно снабжая их образами и языком для осмысления и выражения своих взглядов.

В 1990-е годы под влиянием новых веяний в исторической русистике на Западе русская революция радикально изменила свой привычный облик. После крушения коммунизма и – что не менее важно – после окончания «холодной войны» Октябрьская революция наконец «закончилась» в том смысле, что историки, наконец, перестали «проклинать или славить» ее. В этом отношении западная русистика повторяет тенденции в изучении Французской рево-

люции, когда Франсуа Фюре объявил о том, что революция закончилась, и следует успокоиться и прекратить изучать ее «изнутри»⁸. В современной историографии отсутствуют и марксистский нарратив о классовой борьбе, которая достигла своей высшей точки в Октябрьской «пролетарской революции», и либеральные трактовки, в центре которых находится Временное правительство, ставшее жертвой экономического кризиса, социальной анархии и жестокости большевиков. Утратил свою актуальность и подход, принятый в социальной истории. Исследователи отмечают наличие в историографии радикального разрыва с прежними аналитическими основами и одновременно отсутствие какой-либо новейшей господствующей исследовательской парадигмы. В радикально изменившемся «историографическом ландшафте», по выражению П. Холквиста, изменился и взгляд на русскую революцию, и те вопросы, которые ставят перед собой ее исследователи. Так, Стивен Коткин уподобляет русскую революцию зеркалу, в котором «разные элементы модерности, обнаруженные за пределами СССР, попеременно отразились в неразвитых, чрезмерных и хорошо знакомых формах» (25, с. 387). Он предлагает рассматривать русскую революцию как неотъемлемую часть истории России имперского периода и как процесс, который оказал системообразующее воздействие на всю последующую историю страны, а большевизм характеризует как по сути своей «побочный продукт» российского абсолютизма (25, с. 398). Разнообразные по характеру современные исследования объединяют некоторые общие методологические тенденции: выдвигание на первый план «политики» (с одновременным расширением дефиниции «политического»); особое внимание к политическим практикам и элементам, формирующим идентичности; признание необходимости сравнительных исследований. Кроме того, они избегают причинных объяснений событий, перемещают фокус исследования из Москвы и Петрограда в провинцию и, наконец, расширяют временные параметры революции как минимум от начала Первой мировой войны до середины 1920-х годов. Таким образом, стираются различия между мировой войной, революцией и Гражданской войной, а форми-

⁸ Furet F. Interpreting the French revolution. – Cambridge, 1981.

рование советской системы рассматривается в общеевропейском контексте.

Влиятельным направлением в исследованиях русской революции является «культурный» подход, фокусирующий на проблемах репрезентации и формировании идентичности. Так, значение и смысл Октябрьской революции с точки зрения национальной идентичности и ее интерпретацию в советских учебниках по истории рассматривает Элииза Вяях (ун-т Тампере), демонстрируя, как параллельно с изменением формата идентичности с наднационального на русоцентристский и обратно изменялась трактовка легенды о революции в советских учебниках (22).

Одним из самых интересных и новаторских исследований этого направления является монография молодого американского историка Фредерика Корни «Многоговорящий Октябрь: Память и создание большевистской революции» (13). Автор исходит из того, что Октябрьская революция является не столько событием, сколько смыслообразующим процессом. Он указывает на наличие двух противоположных нарративов Октября. С одной стороны, это нарратив победителей-большевиков о нарастании революционной активности масс, вылившейся в «драматическое и необузданное освобождение от старого порядка», с другой – не менее связанное повествование побежденных о «героическом противостоянии русских патриотов атакам кучки выскочек на основы государственности в России». Октябрь в исторических нарративах был и остается одновременно и революцией, и военным переворотом. Существование двух нарративов об одном и том же событии ставит под вопрос саму реальность этого события, пишет Ф. Корни. В соответствии с современными представлениями о конструировании нарративов, традиционное понимание фактов как отражения реальности утратило свое значение, и на первый план выходит репрезентация как «проигрывание» событий прошлого. Не отрицая реальности событий, имевших место в октябре 1917 г., автор указывает, что именно хаос происходившего явился основой для создания столь разных по своему характеру историй. Он доказывает, что Октябрьская революция является событием, сконструированным постфактум. Автор прослеживает процесс борьбы двух видений и репрезентаций Октября 1917 г. (революция или заговор). Процесс этот начался сразу же после формальной смены полити-

ческой власти и включал в себя многие средства из идеологического арсенала.

Успешность нарратива зависит от того, насколько ему удастся вовлечь население в процесс его создания, – в конечном счете, в процесс конструирования «прошлого», пишет Ф. Корни. Большевикам удалось создать такой революционный нарратив, который переживался на уровне личной и групповой памяти. Он обеспечил людей тем языком, которым они выражали свои воспоминания. Главную роль в формировании общественного мнения и, более того, понимания населением происходящих событий, играла пресса и другие средства агитации и пропаганды. Именно так создавалась основа, рамки для «понимания» гражданами происходящего, т.е. шел процесс «приписывания значения» тому или иному событию (12, с. 188).

В первые дни после захвата большевиками власти встал вопрос о легитимности, которая в тот момент подразумевала легитимность революционную. То есть задачей большевиков являлось доказать, что была совершена настоящая революция, а не военный переворот в духе латиноамериканской хунты, как утверждали эсеры и меньшевики. Социалисты указывали на «искусственность», сфабрикованный характер произошедшего события, в котором отсутствовала необходимая для истинной революции «страсть» и «стихийность», не говоря уже о поддержке масс и выражении их истинных интересов. Уже современниками было отмечено, что революцию создали «не прокламации, не пылкие призывы, а статьи и фельетоны». «Бумажной» называли Октябрьскую революцию обе стороны еще и потому, что ей предшествовали длительные дебаты по вопросу о подготовке и характере выступления.

В ходе горячих дискуссий первоначальная структуризация нарратива об Октябре шла по нескольким направлениям: сотворение революционной традиции (история большевизма и предшествовавших ему течений), выделение отдельных географических пунктов, в которых «делалась революция» (Смольный), и узловых событий, которые явились ключевыми для победы большевиков. Одним из дискуссионных являлся сюжет о взятии Зимнего дворца, который претерпел ряд существенных изменений, прежде чем вошел в революционный нарратив на правах важнейшего события, олицетворявшего революционный порыв масс. Автор прослежива-

ет процесс формирования этого «рассказа», в котором участвовали и победители, и проигравшие. Наиболее очевидными были параллели со взятием Бастилии, правда, в отличие от Бастилии, Зимний дворец не был разрушен.

Через десять лет после первых споров в прессе режим большевиков по-прежнему доказывал, что в октябре 1917 г. произошла революция – событие мирового масштаба. Позиция их противников, которые оказались в положении проигравших, была явно более слабой. Доказывая, что в октябре 1917 г. произошла не революция, а заговор, они были вынуждены лишь реагировать на репрезентации большевиков. Их нарратив не обладал всеми достоинствами революционной риторики о героической борьбе и страданиях трудового народа, которую так удачно использовали большевики. Их вариант рассказа не был нагружен символами и образами и, соответственно, не воздействовал на эмоции и воображение. И если первый нарратив мог быть использован для выражения драматизма, страстей и эмоций, заставляя людей сопереживать и часто даже перестраивать соответствующим образом собственные автобиографии, то второй не мог предложить ничего, кроме «стерильности, авантюризма и бесцельности». Особенно бледно выглядел нарратив о заговоре в той его части, которая касалась взятия Зимнего дворца. Рассказ о трагическом разграблении сокровищницы культуры по силе своего воздействия не выдерживал никакого сравнения с репрезентацией «штурма Зимнего» восставшими массами.

Проследившая постепенное формирование и перестройку нарратива об Октябрьской революции в течение 1920-х годов, Корни отмечает, что он, с одной стороны, «встраивался» в идеологический контекст эпохи, с другой – сам помогал оформлению идеологии большевистского режима. Романтическое повествование о пролетарской революции наложило свой отпечаток на мировоззрение последующих поколений, которые строили новое государство в соответствии с теми ценностями, которые лежали в основе этого нарратива.

Примером несколько иной, но также новой тенденции в изучении политической истории России служит книга Питера Холквиста, посвященная событиям на Дону в 1914–1920-х годах (20). Донская область подолгу находилась под контролем и красных, и

белых, и в результате сложилась достаточная для проведения сравнительного анализа источниковая база. Исследуя относительно небольшой регион, население которого было крайне разнообразным, автор имеет возможность показать, что происходило в деревне или казачьей станице.

В основе авторского нарратива, скомпонованного вокруг нескольких ключевых сюжетов, лежит тезис о преемственности политики насилия, сформированной в годы Первой мировой войны и характерной для всех воюющих держав, которая была усилена в период революции и затем перенесена большевиками в мирное время. Преемственность он отмечает и в позиции элиты, которая вступила в войну с четким представлением о необходимости активного использования центральной государственной власти для воздействия на население.

Для исследования «непрерывного кризиса» 1914–1920 гг. на примере одного региона автор избрал три «вектора деятельности государства», которые в наибольшей степени обеспечивали контакты между населением и государством, в данном случае с «разными претендентами на политическую власть» – царским правительством, Временным правительством, белыми, большевиками, казацкой старшиной (20, с. 6). Это государственная практика обеспечения продовольствием, использование государственного насилия для достижения политических целей и политический надзор за населением. В результате обнаруживаются параллели и сходные черты в практиках всех перечисленных выше правительств на Дону. А поскольку такие же меры для тех же целей применялись в тот период и другими европейскими державами, автор относит их за счет необходимости тотальной мобилизации, а кроме того, объясняет их применение «новыми требованиями государства по отношению к населению», возникшими в эпоху «тотальной войны». Таким образом, поворотным пунктом в истории России П. Холквист считает 1914, а не 1917 год. При этом он исследует революционный период как процесс, а не событие, не упуская из виду, что революция произошла на фоне всеобщей мобилизации военного времени.

Исследование ставит вопрос о роли идеологии в формировании советской системы. Одной большевистской идеологией (которую трактуют как «склонность привязывать все к социально-

экономическим условиям») невозможно полностью объяснить политику советского государства по отношению к населению, полагает П. Холквист. Идеология действовала в условиях «революционной политической экосистемы» – термин, заимствованный автором у Катерины Кларк (20, с. 144). Идеология объясняла советскую политику в терминах «классовой борьбы», однако подобные политические практики были широко распространены и в других государствах. Холквист указывает, что большевиков отличала «та степень, с которой они использовали и трансформировали инструменты, предназначенные для тотальной войны, приспособивая их к новым целям революционной политики как во время гражданских войн, так и, в особенности, после их окончания» (20, с. 287). В то время как после окончания войны другие страны более или менее успешно вернулись к несколько модифицированной форме старого строя, большевики не отказались от революционной массовой мобилизации. Для достижения своей цели – революционной трансформации общества и человека – большевики продолжали применять военные методы. Сохранение военного государства в мирное время автор относит не только за счет идеологии большевиков и слабого развития гражданского общества в довоенной России. Он полагает, что советскую систему создали также война и революция. В результате институты и практики тотальной мобилизации, с которыми европейские державы могли покончить после заключения мира, «стали структурными элементами для построения как нового государства, так и нового социально-экономического строя» (20, с. 286). Советская система, в понимании Холквиста, была перманентной революцией.

Для авторской методологии характерно особое внимание к языку и эволюции терминов и понятий. Демонстрируя, как каждая сторона создавала стереотипы врага, как они сближались и взаимно усиливались, Холквист обращается к термину «деказакизация». Первоначально означавший отмену сословного статуса казаков, в соответствии с резолюцией Оргбюро ВКП (б) он стал пониматься как «тотальное уничтожение» всей «казацкой верхушки» путем «массового террора» (20, с. 180). В 1919 г. такое значение термина стало возможным и понятным, поскольку антисоветское казачье правительство и его преемник, Вседонской казачий круг, даровали

статус казаков тем, кто поддержал их восстание, и отказали в нем сторонникам Советов.

Изучение практики снабжения продовольствием позволяет автору более точно определить роль идеологии в формировании конкретных политических практик и формулировании их целей. В контексте «мобилизации» и «организации» своих обществ в ходе тотальной войны все воюющие державы сосредоточили снабжение и распределение продовольствия в руках правительственных организаций. Государственная монополия на торговлю зерном была установлена и Временным правительством, которое в данном случае лишь реализовало намеченную еще до революции программу. Таким образом, введение контроля над экономикой в СССР являлось не только воплощением большевистской идеологии, но также расширением и продолжением той практики, которая получила распространение во всей Европе в годы войны. Свою общность в этом отношении с Европой прекрасно осознавали как дореволюционные чиновники, так и ведущие советские экономисты, занимавшиеся разработкой планового хозяйства. Фиксируя наличие серьезной традиции «научного и рационального» планирования в среде специалистов, бывших сотрудников Министерства земледелия, автор описывает их противостояние реформе атамана Краснова, который ввел в мае 1918 г. на Дону свободную торговлю зерном.

«Этот планирования», пишет П. Холквист, в годы Гражданской войны получил широкое распространение среди всех ее участников. Все они осуждали спекуляцию и рыночную анархию, принимали меры для борьбы с инфляцией. Тем не менее, прослеживая глубокую общность между царским режимом, Временным правительством и правительствами белых на Дону, Холквист выявляет те отличия в целях и форме политической практики снабжения продовольствием, которые присутствовали у большевиков. С присущим ему обостренным вниманием к значению слов и понятий, он отмечает, что термины «запасы» и «излишки» из области экономики перешли в плоскость морально-политическую.

Белые и красные, действовавшие в интересах разных групп населения, выработали поразительно разную практику хлебозаготовок, отмечает П. Холквист. И те, и другие прибегали к насилию, однако задачи изъятия зерна они понимали по-разному. Если це-

лью белых являлась всего лишь заготовка сданных гражданами «запасов» зерна и более правильное его распределение (как это и происходило в годы войны), то задачи советской власти выглядели совершенно иначе. С точки зрения автора, политика большевиков по обеспечению продовольствием была нацелена на трансформацию индивида, который должен был усвоить новый смысл своих обязательств перед государством. Именно этим он объясняет применение жестоких карательных мер против тех, кто «утаивает излишки» от голодающего народа республики Советов. Те, кто «уклонялся» от выдачи зерна, объявлялись «врагами народа» и судились военным трибуналом. Выездные сессии революционных трибуналов носили характер показательный и воспитательный, широко освещались в местной прессе, приговоры судов распространялись в виде листовок среди населения. Таким образом, вопрос о хлебозаготовках переходил из объективной в субъективную сферу.

Исследуя практику политического надзора, П. Холквист показывает, что контроль за настроениями населения, стремление конструктивно воздействовать на эти настроения носили в XX в. широкий, общеевропейский и даже всемирный характер. В межвоенный период тоталитарные по своей сути мероприятия проводили и нацистская Германия, и цитадель либерализма – Англия.

Автор указывает, что надзор за настроениями населения следует понимать как вспомогательную функцию политики современной эпохи (одним из вариантов которой является тоталитаризм) и как составную часть глубокого процесса изменения целей управления: процесса перехода от «территориального» государства к «правительственному». В России резкий переход от территориального государства, в котором самодержец управлял разнообразными территориями, к государству, основанному на правительственном принципе и управляющему населением, произошёл в 1917 г., пишет П. Холквист. Политический надзор в этом контексте и представляет собой один из инструментов эффективного управления населением (6, с. 52).

Методика политического надзора, приходит к выводу П. Холквист, была разработана еще в царской России, в ходе Первой мировой войны получила широкое распространение и была институционализирована в рамках государственных структур, а в годы

гражданской войны ее активно применяли и красные, и белые. Однако несмотря на то, что методика надзора и осведомления у белых и красных была схожей, специфика большевизма проявилась в формулировке тех целей, ради достижения которых следовало практиковать надзор и содержать осведомителей, пишет автор (6, с. 58). Отличительной особенностью советского эксперимента являлось использование общеевропейского набора практических мероприятий политического контроля с целью создания «нового человека» и построения социализма, причем в течение определенного временного периода. Отвергая попытки трактовать приведенные в исследовании факты как доводы в пользу «особости» России, автор указывает, что «задача исследователя должна состоять не в поиске причин, по которым Россию можно было бы считать аномалией, а в определении специфики российского воплощения общеевропейской практики» (20, с. 62).

Еще более широкий подход к роли войны «как ключевого поворотного момента в политической истории России» демонстрирует Джошуа Санборн в своей монографии о воинской повинности и формировании массовой политики в России в 1905–1925 гг. (37). Он полагает, что именно военный опыт наряду с введением всеобщей воинской повинности превратили императорскую Россию в государство современного типа. После 1905 г., считает автор, в России наступает эра массовой политики – т. е. политики, проводящейся по отношению к массам и с участием масс, которая присуща эпохе модерности и одновременно является ее «индикатором». История России вновь рассматривается в общеевропейском контексте, поскольку военная служба везде считается важной составляющей гражданских обязанностей индивида перед государством, а также социального статуса в государстве современного типа. Автор рассматривает такие вопросы, как обязательная военная служба, легитимация Российского государства и тех войн, которые оно вело, отношения между государством и насилием. Он подчеркивает чрезвычайно сложный характер политики мобилизации, прослеживая ее развитие на протяжении нескольких десятков лет, и рассматривает ее в контексте формирования нации. Обнаруживая преемственность политических практик и технологий «тотальной войны» и «массовой политики», он объясняет неизбежность этой преемственности теми задачами, которые должны

были решать как царские министры, так и большевики. В широком смысле – это проблема создания всеобщего, территориального гражданства и построения многонационального государства современного типа. Характерно, что сама революция 1917 г. как таковая почти не фигурирует в книге, обозначая лишь некий момент перехода власти из одних рук в другие. Все внимание автора сосредоточено на политических дискурсах царских чиновников и их преемников – большевиков, вращающихся вокруг проблемы строительства национальной армии.

В целом, как показывают исследования молодых американских историков, решающее значение для всего последующего хода советской истории имели идеи и представления, актуализированные в политических практиках, на основе которых и выработывалась новая государственная система.

В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

После распада многонационального Советского Союза изучение национализма и формирования национальной идентичности вызвало к жизни огромное количество литературы, отличающейся крайним разнообразием мнений и точек зрения. Опираясь на работы таких теоретиков возникновения наций как Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбоум и М. Грош, историки основное внимание уделяли книжной культуре и массовому образованию, которые считаются главными факторами в распространении чувства национальной идентичности и формировании соответствующих «воображаемых сообществ». «Национальное пробуждение» в Европе датируется второй половиной XIX в., когда массы людей, которых часто соединял лишь язык, начинают «воображать» себя национальным сообществом, и особенно важную роль в этом процессе играли государство и политическая элита. В России процесс формирования национальной идентичности у русскоязычного населения по ряду взаимосвязанных причин долгое время находился в зачаточном состоянии и, по мнению многих исследователей, приобрел присущую эпохе Нового времени систематическую форму только в 1930-е годы.

При изучении «национального вопроса» в Российской империи и отечественные, и западные историки, признавая априори значение наций, главной целью исторической эволюции обычно считали формирование национального государства, к чему и должна была привести активная политика русификации после 1881 г. При этом империю оценивали либо как «антиэтническую», либо «русоцентричную» или же «не-этническую», а сам режим, как правило, считали репрессивным по отношению к нерусским народам. Ряд исследователей национальной политики Российской империи трактует режим как консервативную структуру, которая не столько подавляла другие народы и продвигала русскую этничность, сколько преследовала в своей политике исключительно прагматические цели поддержания внутренней и внешней стабильности при минимуме затрат. Исследования «национального вопроса» в СССР также исходили из необходимости создать в Советском Союзе нацию, и меры по созданию «единой общности – советского народа» трактовали как репрессивные, а терпимость по отношению к национальным культурам считали лишь средством советизации других народов.

В литературе 1990-х годов появились несколько иные оценки «открыто наднационального режима», который, как показал ряд исследований, конституировал, а не подавлял национальность (см. 3). Однако многие специалисты по советскому периоду настаивают на уникальности национальной политики СССР, которая фундаментально отличается от дореволюционной. Они опираются на расхожее мнение о том, что при царском режиме отсутствовало официальное представление о национальности, население классифицировалось по религиозной принадлежности, и многонациональность никогда не была институализирована, а советский подход к национальности сформировался на основе идеологии марксизма-ленинизма, исповедовавшей интернационализм. Конечно, Советский Союз отличается от Российской империи такими, например, инновациями, как паспортная национальность, территориальная этничность, активное продвижение национальных культур. Однако основы для этого были созданы еще при царском режиме.

Характерный для сегодняшней историографии акцент на преемственности между дореволюционной и советской Россией

обосновывается представлениями о ведущей роли государства, которое в эпоху активного формирования модерности проводит интервенционистскую политику и оказывает серьезное влияние, в частности, на формирование этнической, гендерной, местной, классовой и расовой идентичности. И хотя в империях стремление государства к гомогенизации своего населения было гораздо ниже, чем в национальных государствах (не было мощного «мифа о единообразии», помогающего управлять территориями), тем не менее этничность являлась и там важнейшей категорией для классификации населения, необходимой для управленческих целей (44, с. 69–70).

Развитие в пореформенный период политически нагруженной категории этничности, которая служит идентификации разных групп населения как для политиков, так и для самих жителей страны, исследовал Чарльз Стейнвелл на примере одного региона – Башкирии (44). Этнические идентичности вырабатываются самыми разными силами и акторами в условиях конкретного политического контекста и относятся, как указывает автор, к области восприятия, а не объективных реалий. Считая, что этничность формируется посредством взаимодействий между людьми и институтами на локальном уровне, он прослеживает, как политическая элита Башкирии, в первую очередь чиновники и земские деятели, описывали и классифицировали население и как сформированные ими концепции артикулировались в институтах и политических практиках, в результате чего общество начинало группироваться вокруг категории этничности.

Башкирия, в которой только 40% населения в 1897 г. было православным и говорило по-русски, предоставляет богатый материал для изучения этнической классификации населения. Основное внимание автор уделяет анализу языковых терминов, в первую очередь таких, как «народность» и «национальность», частотности и тем значениям, в которых они употреблялись чиновниками в отношении местного разнородного населения. Он отмечает, что после 1890 г. в политическом дискурсе термины «народность» и «национальность» все чаще начинают дополнять и даже замещать категории сословного статуса и вероисповедания.

Политический курс, который правительство начало проводить после революции 1905 г., когда в России получает все боль-

шее распространение идея «самоопределения наций», явился катализатором для развития категории этничности. Для решения задачи превращения пассивных и послушных подданных в активных лояльных граждан чиновники ищут новые средства для классификации сторонников и противников режима, новые принципы для единения государства. В обращение вводятся новые термины для обозначения лояльности и патриотизма, который понимается как преданность царю и отечеству и не зависит от политических пристрастий или национальной принадлежности. Язык патриотизма начинает проникать в местную политическую жизнь. Однако сразу же для обозначения «недостаточного» патриотизма того или иного чиновника начинают применяться «этнические маркеры», поскольку режим в целом идентифицировался с русской нацией (44, с. 76–77).

Остановливаясь на значении категории этничности для организации образования и просвещения, автор указывает, что цели и задачи миссионеров и земских деятелей, развивавших обучение на родном языке, были разными. В представлениях земских деятелей просвещение было главным инструментом создания сознательных граждан. Понимая и принимая наличие этнических и религиозных различий, они стремились создать отдельную от этнической и религиозной идентичность политическую, в которой языком политики был бы исключительно русский (44, с. 78–79).

Однако царский режим не выработал и возможно не мог выработать организации общества по признаку этничности. Юридически он базировался на сословной иерархии, и этнические категории имели значение главным образом для политической элиты. Преемственность между Российской империей и Советским Союзом автор усматривает в том факте, что оба режима, с одной стороны, придавали значение этническим различиям, с другой – их «миф о единообразии» не строился вокруг этничности. Кроме того, царский режим заложил основы для этнической организации образовательных, духовных и политических институтов, не говоря уже о создании «языка этничности», который был впоследствии систематизирован советской властью (44, с. 81).

Категории этнической, национальной и советской идентичности получили широкое освещение в историографии национальной политики СССР, которая после 1991 г. обогатилась многими

новыми работами. Новый взгляд на национальную политику в Советском Союзе и сущность советского многонационального государства представлен в широко цитируемой статье Ю. Слэзкина «СССР как коммунальная квартира» (3). Возражая укоренившемуся в советологии мнению об угнетении национальностей и преследовании национализма в СССР, автор выдвинул гипотезу, которая в последнее время приобретает все большее признание: на самом деле, считает он, советское государство проводило сознательную политику этнической обособленности, содействуя развитию «национальных меньшинств» часто в ущерб титульным национальностям, в первую очередь, русским. Культивируя местные национальные особенности, большевики «конструировали» нации. В 1920–30-е годы создавались не только национально-территориальные объединения, национальная бюрократия, учебные заведения и кадры интеллигенции, но даже языки, культурные традиции и национальная иконография. Слэзкин демонстрирует применение на практике знаменитого ленинского парадокса о богатстве формы и единстве содержания.

Такая оценка советской национальной политики разделяется и молодым американским ученым Терри Мартином, который в своем исследовании о становлении советской многонациональной политики и национальном строительстве в СССР в межвоенный период опирается на архивные материалы, доступ к которым западные историки получили в 1990-е годы (29).

В центре внимания автора – политика «аффирмативного действия» (подкрепляющего действия, направленного на защиту правовых и др. интересов) по отношению к нерусским народностям, которая сосуществовала бок о бок с имперскими по своему характеру политическими отношениями между центром и национальной периферией. Термин «аффирмативное действие» взят из современной американской практики и обозначает программы помощи расовым и этническим группам. Автор решил использовать его для обозначения «поддержки советским государством национальных территорий, языков, элит и идентичностей этнических групп», населяющих СССР (29, с. 18). Суть авторского подхода выражается во введении: «Революционное правительство России стало первым из старых европейских многонациональных государств, которое перед лицом поднимающейся волны национализма

ответило систематическим продвижением национального сознания своих этнических меньшинств и установлением для них многих институциональных форм, характерных для национального государства. Стратегия большевиков состояла в том, чтобы возглавить процесс, который сегодня понимается как неизбежный процесс деколонизации, и вести его таким образом, чтобы сохранить территориальную целостность старой Российской империи» (29, с. 1). Это была стратегия, целью которой являлось разоружение национализма путем дарования так называемых «форм» национальной государственности» (9, с. 3). Таким образом, аффирмативное действие являлось инструментом, служившим «центральным целям» индустриализации, государственного строительства, интернационализма и коммунизма. Основное внимание автор уделяет не выработке политического курса и его идеологическому обоснованию, а политической практике 1920-х годов и ее постепенной трансформации в годы «великого перелома» 1928–1932 гг. и «великого отступления» 1933–1939 гг.

Политика «аффирмативного действия» в СССР означала поощрение национальных кадров и использование родного языка в официальном делопроизводстве, в школах и учреждениях культуры. Таким образом, в центре внимания исследования оказывается политика «коренизации» на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, в Средней Азии и сопротивление ей на федеральном, региональном и местном уровне. Т. Мартин убедительно показывает, что решения формировались на низшем уровне, основываясь на мнении республиканского руководства, и лишь впоследствии утверждались центром (29, с. 177). Автор демонстрирует сложность и разнообразие проблем, возникавших в разное время на региональном уровне, те трудности и сопротивление, с которыми сталкивались большевики, в первую очередь в ходе возникающих межнациональных конфликтов.

В отличие от большинства исследователей Т. Мартин считает, что политика коренизации закончилась лишь во второй половине 1930-х годов, когда в официальном дискурсе централизованное государство стало ассоциироваться с русским народом. Итогами коренизации явилось то, что национальные кадры заняли высокие посты на уровне своих республик, но не в федеральном центре, а большое количество потенциальных политических лиде-

ров было направлено в педагогику, для решения задач по созданию системы национальных школ.

Одним из новых положений книги является утверждение автора, основанное на новых архивных данных, что Сталин в годы НЭПа лично и с большой энергией поддерживал политику коренизации (29, с. 232). Однако в годы Великого отступления Сталин проводит «ревизию политики аффирмативного действия». Параллельно с утверждением концепции «дружбы народов» проводятся «этнические чистки» отдельных народов, на которых навешивается ярлык «вражеских». По подсчетам Мартина, в годы Большого террора на долю населения национальных окраин пришлось пятая часть арестов и треть расстрелов, и 800 тыс. человек было депортировано. Мартин утверждает, что голод на Украине «не являлся намеренным актом геноцида против украинской нации», хотя национальный фактор играл некоторую роль, например, на Кубани (29, с. 305).

Несмотря на новизну оценок, внимание к политике «национальной инженерии» и введение в научный оборот новой для историографии СССР концепции «неотрадиционализма», подчеркивающей наличие черт архаизации в сталинском режиме, работа Т. Мартина не отличается свежестью подходов и методов. Ярким примером исследования, написанного в «имперской» системе координат с применением новейших методов эпохи постмодерна является статья видного американского историка А. Рибера, профессора Централно-Европейского ун-та в Будапеште, обратившегося к достаточно традиционной теме – политической биографии Сталина (35). Его концепция заслуживает особого внимания. Подход Рибера оригинален и серьезно отличается от принятых в историографии. Это не психоистория, которая ищет корни взрослых проблем в детстве того или иного индивида, и не обычная биография крупного политического деятеля на фоне эпохи. Ключевыми в его работе являются концепции «идентичности» и «саморепрезентации». Немалое значение имеет и широкий сравнительный подход. В центре внимания исследователя – процесс формирования идентичности Сталина как «человека с окраины» Российской империи. В этом отношении, пишет автор, Сталин представляет собой новый тип политического лидера, который возник в период крушения империй и дискредитации традиционных элит после войн и

революций начала XX в. (Гитлер, Пилсудский и др.). При старом режиме этнические и региональные идентичности этих будущих лидеров носили периферийный характер по отношению к традиционным властным центрам. Периферийное происхождение предопределяло их политические цели: они стремились радикально перестроить и государство, и общество, чтобы «поместить себя в символические и реальные центры власти» (35, с. 1655).

А.Рибер прослеживает процесс формирования идентичности своего героя с юности, особое внимание уделяя тому, как «социальная и культурная матрица Кавказа формировала его верования, стремления и поступки в годы становления», анализирует ранние политические произведения Сталина как зеркало, отражающее трансформацию его «персоны» в рамках революционного движения. Все это позволяет по-новому понять политику Сталина впоследствии, когда он стал лидером советского государства (35, с. 1654).

Траекторию политической карьеры Сталина от юного бунтовщика к профессиональному революционеру, строителю государства и «империалисту» автор рассматривает как метафорическое «путешествие» с периферии в центр Российской империи, которое одновременно являлось и путешествием «по территории этнической трансформации». Как отмечает Рибер, этническая трансформация предполагает культурную двойственность, а сама этническая идентичность представляет собой сложный и изменчивый феномен, включающий в себя географический, классовый и культурный компоненты. Формирование идентичности, в особенности для «человека с периферии», является трудным и болезненным процессом, требующим во многом сознательных усилий по гармонизации собственной личности и согласованию часто конфликтующих ее компонентов.

Исследуя «множественные идентичности» Сталина и их источники, а также то, как он сам строил свою социальную личность для достижения политических целей, автор применяет фрейд-анализ. Он организует жизненный опыт Сталина в три объяснительных фрейма: 1) культурный (традиционный грузинский), 2) социальный (пролетарский) и 3) господствующий русский (35, с. 1656).

Опубликованные при жизни Сталина биографические материалы свидетельствуют о его глубокой укорененности в грузинской традиционной культуре. Он вырос на народных песнях, сказках и легендах, на лучших образцах грузинской поэзии и эпоса. В юности он испытывал серьезное влияние грузинских критических реалистов Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели, которые активно развивали грузинский язык и культуру в условиях русификации, а также неоромантиков, особенно Александра Казбека. Имя героя одного из его романов – благородного разбойника Кобы – Сталин взял в качестве своего партийного псевдонима (35, с. 1658). До 28 лет он писал исключительно на грузинском и публиковал свои ранние стихотворные произведения в печатных органах «либерально-национальной ориентации».

По описанию антропологов, оказавшись во внешнем мире и лишившись защиты деревенской общины, ребенок должен учиться выживанию и ищет «заменители» семьи в духовном родстве. В грузинской традиционной культуре это могло быть своего рода «братство военных соратников». Покинув родные места, Сосо Джугашвили пытался выстроить свою собственную систему родства. Однако его первая попытка создать семью окончилась трагедией. После смерти первой жены, Екатерины Сванидзе, он в качестве «замены» собирает в Баку вокруг себя группу ближайших соратников, которые позднее поднялись вместе с ним на вершину власти (Киров, Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Анастас Микоян и Абель Енукидзе). Как отмечает Рибер, в первые годы своего могущества Сталин окружал себя большой семьей, в которую входили его родные, родственники обеих жен и его «духовная родня» – отряд собратьев. В 20-х – начале 30-х годов Сталин часто играл роль грузинского отца семейства и гостеприимного хозяина на вечерах и банкетах для семьи и близких друзей. Однако эта идиллия была разрушена самоубийством жены и убийством Кирова. По наблюдениям Рибера, первая импульсивная реакция на смерть Кирова приняла форму кровной мести, которая обратилась против «контрреволюционеров» в Ленинграде. И лишь после того, как прошла спонтанная эмоциональная реакция, Сталин начал систематически эксплуатировать смерть Кирова в своих политических интересах (35, с. 1663–1664).

Важнейшую роль в политической карьере Сталина сыграла его саморепрезентация как символического пролетария. Он усиленно стремился трансформировать «родимые пятна происхождения», поскольку по паспорту до 1917 г. числился крестьянином. Эта позиция – публичное представление себя как истинного пролетария, революционера-практика и противопоставление «интеллигентам»-теоретикам – помогла Сталину достичь успеха в борьбе за власть внутри партии (35, с. 1673).

Автор рассматривает «русский» фрейм множественной идентичности Сталина в трех измерениях: выбор русского как предпочитаемого политического языка, местонахождение в «центре мировой революции» – Великороссии, самоидентификация с национальными героями России, такими, как Иван Грозный и Петр Великий.

Как указывает Рибер, многолетняя борьба Сталина с грузинскими меньшевиками за лидерство в партии могла окончиться победой только в том случае, если вести ее из центра. Ключом к достижению успеха являлась более тесная связь с Россией и русскими, и Сталин в своем поведении и в своих «символических жестах» – актах «на публику» – все больше демонстрировал тенденцию к усилению русской идентичности, «но всегда с грузинским акцентом и пролетарской грубоватостью» (35, с. 1677).

Поворотным пунктом в политической карьере Сталина стал Лондонский съезд, после которого он окончательно переезжает в центр России. Однако нельзя считать, отмечает автор, что Сталин решил отказаться от своей грузинской идентичности и стать русским. Скорее он сменил свою первоначальную цель быть большевиком в Грузии на то, чтобы стать грузином в русском большевизме. Это был трудный процесс, что Рибер демонстрирует на примере долгих поисков партийного псевдонима. Выбор псевдонима, указывает автор, может быть одним из наиболее важных и решающих актов представления себя внешнему миру. Принятие новой публичной идентичности приобретает статус магической формулы, культурного тотема, пишет Рибер. Принятие псевдонима – волевой акт, который создает иную идентичность и узаконивает ассоциирующиеся с ним дескриптивные характеристики (35, с. 1677–1678).

У Сталина было много нелегальных имен, однако его псевдонимы, как показывает Рибер, были глубоко связаны с эмоциональными переживаниями по поводу разных событий его частной жизни и явно носили для самого Сталина характер символа. Символическое значение имели псевдонимы «К. Като» (по имени первой жены в период рождения сына и после ее смерти), «Коба» и особенно «Коба Иванович». Подпись «К. Сталин» впервые появляется в 1913 г. под большой теоретической работой «Марксизм и национальный и колониальный вопрос». Рибер придает большое значение этой работе Сталина по национальному вопросу: она не только ознаменовала появление «человека из стали», но и наметила пути построения многонационального пролетарского государства, которые были реализованы им через 10–15 лет. Она означала также и «завершение паломничества с периферии в центр» (35, с. 1681).

Автор напрямую связывает борьбу Сталина за трансформацию и гармонизацию собственной личности с его политическим курсом, сложившимся впоследствии, полагая, что его поведение как политика коренилось в личном опыте человека с периферии, который стремится играть важную роль во властном центре. Особенно ярко это проявилось в политике по национальному вопросу. Для Сталина право наций на язык соединяло этничность и класс, грузинское и пролетарское, и он всегда настаивал на признании местных языков. Его опыт «человека с окраины» научил его, что защита права нации на использование собственного языка была противовесом центробежным националистическим силам на Кавказе (35, с. 1667).

В концепции Сталина классовые интересы пролетариата определяли право наций на самоопределение, региональная автономия защищала право на язык, а русское государство обеспечивало «общие рамки» политической организации в целом. Таким образом все три фрейма его личности – традиционный грузинский, пролетарский и доминирующий русский – сливались в этой концепции воедино. При этом пролетарский фрейм являлся связующим звеном между грузинской периферией и русским центром. Этот же механизм Сталин, встав у власти, применил к построению многонационального государства (35, с. 1683).

Рибер уделяет внимание таким компонентам концепции Советского государства у Сталина, как социально-экономическая отсталость периферии, где отсутствовал свой сознательный пролетариат, а также придание исключительно политических функций центру – России. Концепция национальной отсталой периферии и развитого политического центра, лишённого национального статуса и построенного на классовой основе, обеспечивала целостность и единство огромного многонационального государства. Как заключает автор, Сталин создал государство по своему образу и подобию и был, пожалуй, единственным человеком, который мог поддерживать равновесие и стабильность в этом противоречивом и сложном организме (35, с. 1691).

В статье Рибера высвечивается множественность категорий идентичности, так же как и их политический характер. Однако наиболее политизированной, пожалуй, является категория советской идентичности, которая уже давно привлекает внимание историков. Многие из них исходят из наличия «чисто» советской идентичности, которая была сформирована в 30-е годы, закреплена в конституции 1936 г. и в каких-то своих аспектах сохраняется до сегодняшнего дня. Такой подход демонстрируется в статье Джеймса фон Гелдерна «Центр и периферия: Культурная и социальная география в массовой культуре 1930-х годов», исследующей новую советскую идентичность, для которой было характерно «чувство гордости и причастности» к великой стране (16, с. 178).

К середине 30-х годов, пишет автор, сформировались новые отношения между центром и периферией, которые получили свое зримое культурное воплощение в новом генеральном плане реконструкции Москвы. Это была модель государства, в котором власть исходила лучами из центра к периферии, причем периферия «почитала за счастье» вложить все средства и отдать все силы для процветания столицы. Московское метро, например, стало предметом национальной гордости для жителей всей страны (16, с.179).

К этому времени периферия перестала восприниматься как нечто чуждое и враждебное, появляется новое представление о границах. Теперь все отдаленные территории оказались объединены в массовом сознании в единую общность – Советский Союз, который защищают от внешних врагов социализма героипограничники.

Развитие географической иерархии, на вершине которой находится Москва, совпадало в эти годы с упрочением иерархии социальной. Возникает тенденция чествования лидеров и знаменитостей, причем не только в политике, но и в искусстве и науке, на производстве, в спорте. Новые ценности «иерархического централизма», пишет автор, открывали доступ к всенародной славе для простых граждан. Массовая культура преподносила множество примеров того, как всевидящий центр (Сталин и Кремль) вознаграждал простых тружеников, например Алексея Стаханова и Пашу Ангелину, за их достижения (16, с. 182–183). Средства массовой информации создавали ощущение, что существует прямая связь между руководством страны и остальным населением, минуя бюрократическую середину, и таким образом возрождался вариант дореволюционного мифа о добром царе и плохих боярах.

Как указывает автор, культурные основания социальной стабильности середины 30-х годов покоились на переосмыслении советской национальной идентичности. Теперь советское гражданство получили широкие массы. Государство признавало заслуги простых граждан, и те, в свою очередь, были готовы признать его главенство (16, с. 188).

Новая историография не признает столь буквального и априорного подхода и стремится акцентировать парадоксальный характер советской политики, подчеркивая различие между намерениями лидеров и результатами их действий.

Дэвид Бранденбергер в своей монографии «Национальный большевизм» (9) исследует формирование национальной идентичности в Советском Союзе, которое он датирует 30-ми годами. В центре внимания автора – идеологический поворот середины 30-х годов, отмеченный подъемом официального русоцентризма, и восприятие новой идеологии массами. В основе идеологического культа, считает автор, лежал новый прагматизм партийной верхушки, осознававшей необходимость мобилизации масс, озабоченной проблемами государственного строительства и легитимности режима (9, с. 2).

Рассматривая процесс формирования национальной идентичности в СССР в 30–50-е годы, автор останавливается на стратегии партийной верхушки по мобилизации общества и внедрению у него чувства патриотизма, что включает в себя рассмотрение та-

ких вопросов, как конструирование идеологии самой партийной иерархии, ее распространение и восприятие в обществе в целом. Подход автора является эмпирическим, с особым вниманием к сложностям формулирования чувства групповой идентичности. Он подробно останавливается на тщательно контролировавшемся процессе, который включал в себя как массовую агитацию в школах и партийных учебных заведениях, так и серьезное внимание к тем же темам в официальной массовой культуре (литературе, прессе, кино, театре, музеях и выставках и т.д.).

Д. Бранденбергер считает, что использование сталинской верхушкой русских национальных героев, мифов и иконографии по существу являлось прагматическим стремлением «дополнить наиболее темные места марксизма-ленинизма популистской риторикой, призванной укрепить легитимность советского государства и способствовать широкому распространению в обществе чувства принадлежности к СССР» (9, с. 4). Он доказывает, что, обращаясь к русскому наследию, Сталин и его окружение не столько стремились продвигать этнические интересы русских, сколько пытались воспитать максимально доступное массам чувство советской социальной идентичности.

Поскольку ключевым для формирования чувства национальной идентичности в СССР являлся исторический нарратив – миф об общем национальном происхождении с соответствующим пантеоном героев, основное внимание в книге уделяется исторической науке и ее трансляции в массы. Как отмечает автор, именно создание и распространение подобных нарративов в Европе XIX – начала XX вв., которые активно распространялись массовой культурой и образованием, мобилизовали «новые воображаемые сообщества» и явились важнейшим аспектом их консолидации. Сказания о правящих династиях, эпических битвах и героях сражений занимали в новых национальных историях центральное место. История как таковая ассоциировалась тогда с «великими свершениями» «великих вождей». Характерно, что в Англии Вильгельм Завоеватель изображался тогда национальным героем, хотя ни слова не знал по-английски.

Д. Бранденбергер отмечает, что в России отсутствие всеобщего образования и грамотности препятствовало распространению чувства национальной идентичности на низовом уровне. Хотя эт-

нографические обследования и фиксировали наличие исторических знаний и представлений об исторических деятелях в среде русского крестьянства, пусть и достаточно упрощенные, однако оценки этих героев, так же как и содержание тех или иных исторических мифов, значительно варьировали в разных регионах страны. Так что автор считает возможным говорить о более или менее оформленной групповой идентичности в России XIX – начала XX вв. лишь на региональном уровне (9, с. 12).

Несмотря на пропагандистские антигерманские кампании в годы Первой мировой войны, чувство национальной идентичности у русских так и не сформировалось, и в середине 20-х годов крестьяне все еще предпочитали называть себя «владимирскими» или «псковскими», а русский патриотизм носил негативную печать «великорусского шовинизма». Как считает автор, это неудивительно, поскольку именно государство играет важнейшую роль в формировании национальных чувств. Большевики же были озабочены борьбой с «великорусским шовинизмом» и насаждением пролетарского патриотизма. В центре внимания находился классовый подход, о чем свидетельствует учебник М.Н. Покровского «Краткий очерк русской истории», который имел мало общего с классическими национальными нарративами в Европе (9, с. 15–18).

Десять лет агитации и пропаганды, адресовавшейся к классовому сознанию, солидарности рабочего класса и преданности партии как авангарду пролетариата, не оказали необходимого воздействия на широкие слои советского общества, пишет Д. Бранденбергер (9, с. 21). Современные исследования показали, что лозунги подобного типа почти не находили отражения в дискурсе на низовом уровне. Общество оставалось разделенным, с отсутствием общего чувства идентичности. Таким образом, в 1927 г., перед началом Великого перелома, СССР не был подготовлен к ситуации, в которой могла бы понадобиться массовая мобилизация народа против общего внешнего врага (9, с. 22).

Процесс пересмотра идеологической программы партийной пропаганды был делом довольно медленным, и только к началу 30-х годов были намечены первые шаги в этом направлении. Первоначально было решено выдвинуть на первый план героев революции и Гражданской войны, однако время оказалось выбрано крайне неудачно: в условиях начавшихся репрессий многие из них

были арестованы и расстреляны как враги народа. Тогда началась разработка другой темы – наследия дореволюционной России. Русский народ стал наследником великих традиций Российской империи. Новая линия нашла выражение в учебнике 1937 г. «Краткий курс истории СССР», в котором прослеживалась история СССР с эпохи Киевской Руси. Бранденбергер демонстрирует, каких усилий стоило партийным чиновникам и пропагандистам приспособиться к новой линии, которая противоречила всему, во что они верили и чему учили. Пропаганде, превозносившей одновременно и царский режим, и уничтожившее его революционное движение, была неизбежно присуща определенная двойственность и противоречивость. Школьные учителя также сталкивались с трудностями при подаче материала. Так, было неясно, как представлять историю народов СССР, и в 1940 г. Наркмопрос дал разъяснение, потребовав включить ее в программу по всеобщей истории (9, с. 71).

К концу 30-х годов, считает Бранденбергер, благодаря пропагандистской кампании, возникла новая патриотическая идентичность, что подготовило страну к войне с Германией. В годы войны риторика пролетарского интернационализма в лозунгах сталинской пропаганды была окончательно отодвинута на задний план «патриотическим компонентом». Автор прослеживает борьбу между «неонационалистами» и «интернационалистами», в которую были вовлечены партийные идеологи и придворные историки. В борьбе победили первые, о чем свидетельствует послевоенная монография Панкратовой «Великий русский народ» – именно так стали понимать задачи историографии после победы в войне.

Однако динамика формирования национальной идентичности на низовом уровне опрокинула расчеты и предположения сталинских пропагандистов. Как доказывает в своем исследовании Бранденбергер, выборочное усвоение официальной пропаганды привело не к формированию «советской» идентичности на основах пролетарского интернационализма, а к достаточно выраженному чувству «русской» национальной идентичности среди простых людей (9, с. 4, 9).

Парадоксальный вывод Д. Бранденбергера принимается далеко не всеми историками. Надо сказать, что и сам он не всегда последователен в своих заключениях. Реакции населения на рас-

пад СССР продемонстрировали, что чувство советского патриотизма и советской идентичности было достаточно укоренено в массах.

Проблема становления советской идентичности затрагивается и в статье Дэвида Ширера «Элементы близкие и чуждые: Паспортизация, охрана общественного порядка и идентичность в сталинском государстве, 1931–1952» (40). Однако здесь она служит целям, согласующимся с задачами «новой политической истории»: проследить эволюцию и функционирование паспортной системы «в контексте бюрократических конфликтов и конфликтующих восприятий государства», чтобы показать «процессы государственного строительства и общий идеологический проект советского режима». Таким образом, в статье вектор исследования повернут из социального на политическое. При этом, поскольку автор считает, что советская паспортная система больше говорит нам о ее создателях, чем о населении, главным предметом его исследования является изменяющаяся идентичность самого советского государства в сталинскую эпоху (40, с. 844).

Помещая свое исследование в общеевропейский контекст, Д. Ширер указывает, что общие для первой половины XX в. тенденции чрезвычайного усиления государства нашли свое наиболее яркое выражение в Российской империи и ее наследнике – Советском Союзе. С самого начала в возникшем на обломках империи государстве его лидеры, вдохновляемые идеологией революционной трансформации и модернизации общества, начали применять во всей полноте мобилизующую мощь государства для социальной инженерии. Проблема классификации населения, разделения его на категории «социально чуждых» и «близких» стояла тогда во весь рост. Принятые в начале 30-х годов законы о паспортизации населения и регистрации по месту жительства явились важнейшим инструментом административного контроля в руках государства и его силовых структур.

Хотя по своей форме советская паспортная система имела много общего с дореволюционной, так же как и с современными ей европейскими схемами идентификации личности, она сильно отличалась по своей сущности (40, с. 841–842).

Паспортизация была задумана для того, чтобы прекратить «бегство» крестьянства в крупные города, однако новые законы

намного превзошли первоначальные цели и ожидания, превратившись в инструмент для поддержания общественного порядка, регулирования миграции населения, а также его «категоризации», т.е. для выявления и обозначения «социально чуждых» элементов. Вскоре паспортизация заменила другие средства социального мониторинга (например, регулярные сводки о настроениях населения).

Первая кампания по паспортизации началась в 1933 г. и к концу 30-х годов паспорта имели более 50 млн. человек. В первую очередь они вводились в так называемых «режимных» местностях – крупных городах, индустриальных и промышленных центрах, стратегически важных районах и пограничных зонах. Паспорта не вводились в городах с населением менее 10 тыс. человек и в колхозах (в отличие от совхозов) (40, с. 846).

Проверки паспортов быстро стали удобным средством для выявления и депортации «социально чуждых» элементов из режимных зон в удаленные части страны. Так, в первой половине 30-х годов выселению подлежали «бывшие» и «деклассированные» элементы из Москвы, Ленинграда, Киева и крупных индустриальных центров, украинские и белорусские пограничные земли были очищены от поляков, немцев и других «антисоветских» народов, из Карелии были выселены финны. Многие уезжали добровольно, не дожидаясь репрессий.

Постепенно увеличивалось количество режимных зон и городов, которые получали не только определенные привилегии в снабжении, но и право ограничивать въезд «нежелательных элементов». Режимные зоны становились «образцами социализма». Таким образом, в результате насильственной и добровольной миграции создавалась «географическая мозаика социалистических и несоциалистических частей страны».

В отличие от Европы, советская система не просто «включала» или «исключала» индивида из сообщества полноправных граждан. Она явилась основой для создания иерархической кастовой или корпоративной системы, в которой гражданский статус лица был отмечен системой ограничений (избирательных прав, свободы передвижения, доступа к товарам потребления), привязанных одновременно к географическому местоположению, поскольку запрещалось проживание в тех или иных районах. Таким образом,

паспортизация отражала представление чиновников об определенном упорядочении государства, которое было как географическим, так и социальным, этническим и производственным (по профессиям) «конструктом». Автор уподобляет гражданский порядок сталинского государства Птолемеевой модели вселенной, в которой в отличие от ньютоновой модели тела были привязаны к определенным пространствам со своими сложными законами движения (40, с. 871).

Углубленное изучение истории паспортизации позволило Д. Ширеру опровергнуть распространенную точку зрения на коллективизацию как «второе закрепощение крестьянства», которому якобы было отказано в праве на паспорт. Ограничение индивидуальной свободы колхозников было связано не с паспортизацией, а с законами о труде. Наряду с жесткими мерами 30-х годов по предотвращению ухода колхозников, в 40-х – начале 50-х годов были приняты не менее жесткие меры по отношению к рабочим. Закрепощение трудовых ресурсов было характерно для сталинской эпохи (40, с. 872–873). Появлением стереотипа о «закрепощении крестьянства» мы обязаны началу 50-х годов, когда особенно громко звучали аргументы о необходимости «сдержать утечку трудовых ресурсов из села», в то время как ограничения для других категорий населения постепенно ослаблялись (40, с. 874–875).

Рассматривая категорию класса и национальности, отраженные в советском паспорте, автор приходит к выводу, что уже во второй половине 30-х годов класс как главный критерий для «включения» в число полноправных граждан начинает утрачивать свое значение. Представление о «чуждости» или близости того или иного лица по отношению к режиму теперь стало ассоциироваться с преступностью и маргинальностью (40, с. 875).

Тот факт, что в ходе реформ 1952 г. рекомендовалось убрать из паспорта строчку с указанием социального положения, но оставить пункт о национальности, Д. Ширер не считает подтверждением тезиса об эволюции советского государства от стадии классово-революционного к «национальному». Не может служить доказательством этого тезиса и депортация народов в годы войны. Если взять период 1939–1952 гг. в целом, на первый план выступает политика «колониальной советизации» в присоединенных областях и республиках. Репрессии там проводились как по национальному,

так и по социальному признаку. Причем в течение 50-х годов новые республики, где проводилась активная советизация, были достаточно закрытой зоной для граждан из «очищенной» части страны (40, с. 877).

Размышляя о сущности и природе советского государства, Д. Ширер указывает, что Вторая мировая война привнесла новый режим идентичности, который перекрывал социальные и национальные категории идентичности. В ходе подготовки паспортной реформы 1952 г. главным критерием для реабилитации становится «служба государству» (не только «образцовый труд», как это было до войны, но в первую очередь боевые заслуги и статус ветерана войны). Таким образом, считает он, сталинское государство эволюционировало все-таки в направлении служилого государства, а не классового или национального (40, с. 879).

Список литературы

1. Дэвид-Фокс М. Введение: отцы, дети и внуки в американской историографии царской России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период. Антология. – Самара, 2000. – С. 5–47.
2. Новая политическая история: Сб. научных работ. – СПб., 2004. – 305 с.
3. Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. – Самара, 2001. – С. 329–374.
4. Трубникова Н. На закате теорий тоталитаризма: Французская историография о России // Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя. – М., 2003. – С. 479–508.
5. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. – М., 2001. – 336 с.
6. Холквист П. «Осведомление – это альфа и омега нашей работы»: Надзор за настроениями населения в годы большевистского режима и его общеевропейский контекст // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. – Самара, 2001. – С. 45–93.
7. Шперлинг В. Торговаться с властью: прошения и жалобы как форма политической коммуникации в пореформенной России // Новая политическая история. – СПб., 2004. – С. 152–168.

8. Bradley J. Subjects into citizens: Societies, civil society, and autocracy in tsarist Russia // *Amer. hist. rev.* – Wash., 2002. – Vol.107, N 4. – P. 1094–1123.
9. Brandenberger D. National bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931-1956. – Cambridge, 2002. – XV, 378 p.
10. Brandenberger D. «...It is imperative to advance Russian nationalism as the first priority»: Debates within the Stalinist ideological establishment, 1941–1945 // *A state of nations.* – Oxford, 2001. – P. 275–289.
11. Bushkovitch P. Peter and the seventeenth century // *Modernizing Muscovy: reform and social change in seventeenth-century Russia.* – L., 2004. – P. 461–475.
12. Corney F. Narratives of October and the issue of legitimacy // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 185–203.
13. Corney F. Telling October: Memory and the making of the Bolshevik revolution. – Ithaca, 2004. – XVI, 301 p.
14. Extending the borders of Russian history: Essays in honor of Alfred J. Rieber / Ed. by Siefert M. – Budapest, 2003. – XII, 553 p.
15. Fitzpatrick Sh. Politics as practice. Thoughts on a new Soviet political history // *Kritika.* – Bloomington, 2004. – Vol.5, N 1. – P. 27–54.
16. Geldern J. von. The centre and the periphery: Cultural and social geography in the mass culture of the 1930s // *The structure of Soviet history.* – N.Y., 2003. – P. 177–188.
17. Hagen M. von. Empires, borderlands, and diasporas: Eurasia as anti-paradigm for the Post-Soviet era // *Amer. hist. rev.* – Wash., 2004. – Vol.109, N 2. – P. 445–468.
18. Hellie R. The expanding role of the state in Russia // *Modernizing Muscovy: reform and social change in seventeenth-century Russia.* – L., 2004. – P. 29–55.
19. Hoffmann D.L. European modernity and Soviet socialism // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 245–260.
20. Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921. – Cambridge, 2002. – IX, 359 p.
21. Holquist P. What's so revolutionary about the Russian revolution? // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 87–111.
22. Imperial and national identities in pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet Russia / Ed. by Chulos Ch.J., Remy J. – Helsinki, 2002. – 242 p.
23. Knight N. Ethnicity, nationality and the masses: Narodnost' and modernity in imperial Russia // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke (Hants.), 2000. – P. 41–64.
24. Kotkin S. The state – is it us? Memoirs, archives, and kremlinologists // *Russ. rev.* – Syracuse, 2002. – Vol.61, N 1. – P. 35–51.

25. Kotkin St. 1991 and the Russian revolution: Sources, conceptual categories, analytical frameworks // *J. of mod. history.* – Chicago, 1998. – Vol.70, N 3. – P. 384–425.
26. Kotsonnis Y. «Face-to-Face»: The state, the individual, and the citizen in Russian taxation, 1863–1917 // *Slavic rev.* – Stanford, 2004. – Vol.63, N 2. – P. 221–246.
27. Kotsonnis Y. Introduction: A modern paradox – subject and citizen in nineteenth- and twentieth-century Russia // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 1–16.
28. Kotsonis Y. «No Place to Go»: Taxation and state transformation in late imperial and early Soviet Russia // *J. of mod. history.* – Chicago, 2004. – Vol.76, N 2. – P. 531–577.
29. Martin T. The affirmative action empire: Nations and nationalities in the Soviet Union, 1923–1939. – Ithaca, 2001. – XVIII, 496 p.
30. Martin T. Modernization or Neo-traditionalism? Ascribed nationality and Soviet primordialism // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 161–182.
31. *Modernizing Muscovy: reform and social change in seventeenth-century Russia /* Ed. by Kotilaine J., Poe M. – L., 2004. – VI, 489 c.
32. *New wine in new bottles? // Kritika.* – Bloomington, 2004. – Vol.5, N 1. – P. 1–5.
33. Raleigh D.J. Doing Soviet history: The impact of the archival revolution // *Russ. rev.* – Syracuse, 2002. – Vol.61, N 1. – P. 16–24.
34. Raleigh D.J. Experiencing Russia's Civil War: Politics, society, and revolutionary culture in Saratov, 1917–1922. – Princeton, 2002.
35. Rieber A. Stalin, man of the borderlands // *Amer. hist. rev.* – Wash., 2001. – Vol.106, N 5. – P. 1652–1691.
36. *Russian modernity: Politics, knowledge, practices /* Ed. by Hoffmann D.L., Kotsonis Y. – Basingstoke, 2000. – VIII, 279 p.
37. Sanborn J. Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905–1925. – De Kalb, 2003. – X, 278 p.
38. Sanborn J. Family, fraternity, and nation-building in Russia, 1905–1925 // *A state of nations.* – Oxford, 2001. – P. 93–110.
39. Schimmelpenninck van der Oye D. Toward the rising sun. Russian ideologies of empire and the path to war with Japan. – DeKalb, 2001.
40. Shearer D. Elements near and alien: Passportization, policing, and identity in the Stalinist state, 1932–1952 // *J. of mod. history.* – Chicago, 2004. – Vol.76, N 4. – P. 835–881.
41. *Stalinism: New directions /* Ed. by Fitzpatrick Sh. – L., 2000. – XVIII, 377 p.
42. *Stalinism: Russian and Western views at the turn of the millennium* Alter Litvin a. John Keep – L., 2005. – XIV, 248 p.

43. A state of nations: Empire and nation-making in the age of Lenin and Stalin / Ed. by Suny R.G. a. Martin T. – Oxford, 2001. – XII, 307 p.
44. Steinwedel Ch. To make a difference: the category of ethnicity in late imperial Russian politics, 1861-1917 // *Russian modernity: Politics, knowledge, practices.* – Basingstoke, 2000. – P. 67–86.
45. The structure of Soviet history: Essays and documents / Ed. by Suny R.G. – N.Y., 2003. – XVIII, 573 p.
46. Suny R.G. Back and beyond: Reversing the cultural turn? // *Amer. hist. rev.* – Wash., 2002. – Vol. 107, N 5. – P. 1476–1511.
47. Suny R.G. The empire strikes out: Imperial Russia, «national» identity, and theories of empire // *A state of nations.* – Oxford, 2001. – P. 23–66.
48. Viola L. The Cold War in American Soviet historiography and the end of the Soviet Union // *The Russian review.* – 2002. – Vol.61, N 1. – P. 25–34.
49. Waugh D.C. We have never been modern: Approaches to the study of Russia in the Age of Peter the Great // *Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas.* – Stuttgart, 2001. – Bd 49, H.3. – S. 321–345.
50. Whittaker C.H. Russian monarchy: eighteenth-century rulers and writers in political dialogue. – DeKalb, 2003. – XII, 308 p.
51. Zitser E. The transfigured kingdom: sacred parody and charismatic authority at the court of Peter the Great. – Ithaca, 2004. – XII, 244 p.